

всч

450

P 32924

М.А.Михеев  
стихи и  
подъём





МАРГАРИТА АЛИГЕР

# СТИХИ И ПОЭМЫ

1935—1943

32994

О Г И З

*Государственное издательство  
художественной литературы*

МОСКВА 1944

А 50 + русск.

Художник Н. В. Ильин

---

П Е Р Е Д Б О Е М

1935 — 1940

---

## ГОД РОЖДЕНИЯ

### 1

Вот и спать мы ложимся поздно.  
Низким дымом стоят леса.  
Вот мы знаем уже, что звезды  
не приклеены к небесам.  
Очень много лунного света,  
углубившего тишину.  
А луна?

А луна — планета.  
Почему мне жалко луну?  
Непонятная,  
быль или небыль.  
Не скрывайся в короткой мгле,  
отколловшаяся от неба,  
не приближившаяся к земле.

### 2

Детства я еще не забыла.  
Где бы только я ни была,  
детство в детском запахе мыла  
и в цветастой клеенке стола.

Было в маленьком городе лето,  
зной шинельный, чужой неуют.  
Каменеющие галеты  
из карманов солдаты дают.  
Бричка с дамою-патронессой,  
кружка белая через плечо.  
А за городом контуры леса  
над запутавшимся ручьем.  
Туча тут стояла...  
Отплыла.  
Были тут солдаты...  
Ушли.

Как скользило в ладошках мыло.  
Ноги маленькие в пыли.  
Их рукою своей холодной  
гладит ласковая вода.

Где же день, что блестел сегодня?  
Не вернется он никогда.  
Не бывает ему возврата.  
Город сходит в сады, в поля,  
и уходят, ушли солдаты,  
невысокой пылью пыля.  
Пыль уляжется.

Только где ты?  
Через двор полетит белье.  
Где ты, память, и где ты, лето,  
детство первое ты мое?  
Как ты вышло, закрыв без стука  
нашу дверь?

И куда твой шаг?  
Это лучше, что больше кукол  
я любила живых собак.

3

До того уж мы зангались,  
что забыли полить цветы.  
Мы на свете еще не боялись  
ничего, кроме темноты.  
Мы привыкли: сначала тихо,  
а потом, как пойдет, пойдет...  
За стеною начнет портниха,  
за рекой пулемет начнет.  
Папы нету ночами дома,  
возле кафельной печки мать.  
Все знакомо. Не все знакомо.  
Как мы начали понимать?  
Вероятно, похожи немножко

все начала наших начал.  
Ходит нищенка под окошком.  
Ты увидел и закричал.  
Ходит голод по городишку:  
станьте в очередь с котелком.  
И двоюродного братишку  
называют большевиком.  
И увозят его в больницу.  
И тебе отвечают:

«Так».

Ты уснешь, и тебе приснится  
пучеглазый костлявый сыпняк.

4

Лунный луч от меня убегает,  
чуть ступлю на него ногой.  
Ну и что мне твоя другая?  
Я не думаю о другой.  
И не надо, чтоб сразу было  
очень просто и тихо жить.  
Только я бы тебя полюбила,  
ты не сможешь меня не любить.

5

Слишком много знали о смерти.  
Нищий умер под нашим крыльцом.  
Даже кукла — сестра милосердия  
с некрасивым тряпичным лицом.  
Даже ночью собачьим лаем.  
нарушается шаг темноты.  
Даже в поле, где мы собираем  
недотоптанные цветы.  
Как часами мы там бродили,  
как под насыпью, под мостом  
неожиданно находили

7

пулю, пуговицу с крестом.  
Все.

И небо на том же месте.  
Конский череп белеет тут.

А цветы с лепестками из жести  
вдруг бессмертниками зовут.

6

Перейду через улицу нашу  
и дойду до второго двора.  
Ест сухую желтую кашу  
интернатская детвора.  
Ест.

Грохочут миски-жестянки.  
Ест.

Голодная сила зубов.  
Ну, а докторша тащит буханки  
полновесных изюмных хлебов.  
Потихонечку. Из интерната.  
Под полою. Из кладовой.  
Мы похлебку едим, ребята.  
Хлеб у докторши — мой и твой!

Жил один человек у соседей.  
Говорили: партийный он.  
Соберется, бывало, уедет.  
Говорили: в какой-то район.

Это я теперь понимаю,  
а тогда догадаться мне б,  
кто добыл нам к Первому мая  
хорошо пропеченный хлеб.  
Вот зачем это было надо!  
Продразверсточный грозный год.  
Как начальнику продотряда

кулаки распороли живот  
и набили его пшеницей.  
Только силы мои верны.  
Значит, стоило нам родиться  
в первый год предпоследней войны.

7

Пережду все часы и сроки,  
но уснуть ни за что не смогу.  
Две березовые сороки  
на высоком лунном снегу.  
Снег растет, остывает, пылает,  
освещает густую мглу,  
и цепочка собачьего лая,  
не смолкая, гремит по селу.  
Не задерживай занавеску.  
Дай мне руку. Оставим дом.  
И по прыгающему блеску,  
по неясной лыжне пойдём.  
Не успею. Не затоскую.  
Перегонят шаги ребят.  
Мне бы надо любовь такую,  
о которой не говорят.  
И сама я была бы рада,  
да не вышло.

Стоит зима.

А придумывать нам не надо.  
Подождём. Подойдет сама.

8

Протекала похоже немножко  
непохожая наша жизнь.  
На высоких тоненьких ножках  
мы с тобой в семилетку неслись.  
Наши завтраки и тетради!

9

Переменками мы шумим  
и, набегавшиеся за день,  
хорошо уставая, спим.  
Вот мы плаваем и не тонем,  
гром не трогает нас в грозе.  
Это бережные ладони  
всех товарищей, всех друзей.  
Наше птичье стремление к полету!  
Так спасибо на этот раз  
за стальные ковры-самолеты,  
вылетающие для нас.  
Голубые лошади дыма,  
и железных дорог полотно.  
По Украине, Кавказу и Крыму.  
Как нам много увидеть даю.  
По Карелии.

Стали озера.  
Неживая, литая вода.

9

Даже то, что мы фантазеры,  
даже это не грех, не беда.  
Есть бессмертные, дикие даты,  
но тому, что давно позади,  
что уже совершилось когда-то,  
мы развязку другую дадим.  
Мы хотим, чтобы было иначе.  
Почему неминуема смерть?  
Чтобы за Комендантскую Дачей  
даже выстрелу не греметь.  
Что карета?

К чорту карету!  
По колено в снегу добегу...  
Неосевший дымок пистолета,  
неостывшая кровь на снегу.

Добегу.

Подоспею.

Не надо!

Видишь, небо какое?

К весне.

Даже Пушкину, чтобы не падать  
на крутой неуступчивый снег.

10

Поднялось над широким пляжем  
солнце в облачке голубом.

Вот мы выросли.

Что мы скажем?

Как мы станем?

Куда пойдем?

Ветер Веста,

тревога Оста.

Пограничный лесок за рекой.

Нам ничто не давалось просто.

Нам ничто не досталось легко.

Разве мы бываем спокойны?

Помню мелочи, в поле брожу,

но когда ядовитые войны

в камышах подползут к рубежу...

Через строй наш врагу не пробиться.

С нас довольно. Мы не хотим.

На своих неприступных границах,

справедливые, мы стоим.

Мы живем и видим воочью,

наша правда пошла по земле.

Вот и все.

    Это писано ночью,  
на устойчивом крепком столе.  
Электрической лампы пламень,  
из чего это сделан ты?

Вот и все.

    Прижимается к раме  
голубое лицо темноты.

Ей недолго стоять у власти,  
ей растаять в рассветный дым.

Для меня невозможно счастье,  
неразделенное с другим.

Январь — апрель 1936

## ГРОЗА

К сильному ветру,  
к неясной беде  
пунцовый конец дня.  
Сколько на свете живет людей,  
которые любят меня!  
Из тучи.

из темной,  
светла тропа,  
начало дождя, как дым.  
Куда ж это.

где ж это  
ты запропал,  
который мною любим?  
А впрочем, зачем это, я всегда  
думаю об одном?

Уже дождевая кривая вода  
соседний изрезала дом.  
Ладонями плещет в мое окно  
и хочет коснуться дна.  
Страшно и холодно в доме одной,  
особенно, если больна.  
Я говорю себе:

«Что ты не спишь?»

В клубок собираю дрожь.  
По листовому железу крыш  
прыгают кошки в дождь.  
Я говорю себе:

«Слушай, спи!

Подумаешь тоже, дитя».   
А из кошачьих выгнутых спи  
тонкие искры летят.  
Что-то хрипит у меня в груди.  
Не разжимая век,

знаю:

          глядит со стены один,  
самый родной человек.

Я говорю:

          «Если б ты приходил  
в теплые наши дома...

Не успеваешь?

У нас ты — один,  
нас у тебя — тьма».

Я говорю ему:

          «Рамки прорвав,  
выйди,

          взгляни мне в глаза,  
дай мне воды и подушку поправь.

Холодно... Жарко... Гроза...

Знаешь ли,

          выкинув ясные флаги,  
в утренней ранней росе,  
шумный ребячий брезентовый лагерь  
стайкой палаток присел.

Если мне больше не жить, не видать  
воздух

и ветер

и свет,

я бы просила тебя передать  
вожатой Тимошиной мой привет.  
В низко идущем костровом дыму  
долгий покаты́й склон...

Отряду всему,

Союзу всему

скажи: от меня поклон.

Я очень любила утро в саду...

Листва... Земляника... Пни...

Нагрузки мои пускай раздадут  
в ближайшие самые дни

Ты им скажи:

не моя вина,

что гибель пришла ко мне.

Скажи им:

я знала,

что будет война.

Готова была к войне.

Пусть не сдают

завоеванных прав;

песни пускай поют...

Дай мне воды

и подушку поправь,

голову тронь мою.

Спасибо.

Мне, кажется, хорошо.

Я даже усну теперь...

Ир почему ты,

куда ты пошел

не в рамку свою.

а в дверь?»

Он говорит:

«Потому что... гроза...

Голову приподыми...»

Уходит,

фразы не досказав,

ее перерезав дверьми.

Уходит.

Мне страшно!

Да ветер ли это?

Говор идет и гудит

улицей.

Знамя знакомого цвета

шумно растет впереди.»

Туча в тучу

проходят густые полки,

загораются и погасают штыки.

Долгий гром

пропалзает

колонною танковой

нераздвипуютой улицею Вахтаугова.  
Пересыпается

цокот копыт.

Говорливая конница мимо спешит  
по летящим дождям,

по литым площадям,

за рукой,

за конем,

за приказом дожда.

Неясные шумы темней и грозней.

Мне надо туда,

чтобы видеть скорей,

деревья ли кланяются грозе

всадники валяются ли с коней.

Мне надо туда!

В орудийный дым.

В опасность.

В спасенье.

Мне надо туда!

Когда я в бреду изнывала:

«Воды!»,

ты приходил, —

и была вода.

Очень тихо.

По комнате шарят  
малокровные руки рассвета.

Очень тихо.

Над крышами шарик  
ослепительно жаркого цвета.

Слышно — дышит большая квартира,  
пахнет реденький каменный сад.

Очень тихо.

Над утренним миром  
только ветки и птицы шумят.

И деревья растут.

И летят облака.

И какая-то крыша дымит, высока.  
И купаться к реке  
проезжают войска,  
зеленя подорожные приминяя.  
Это мир,  
он течет, как большая река,  
голубея, мутнея и русло меняя.

Июнь 1935

42626

## ОСЕНЬ В БОЛДИНЕ

*В мои осенние досуги,  
В те дни, как любо мне писать*

*Пушкин*

Утрами травы, мхи и пни  
в холодном росном серебре.  
Стояли дни.  
Такие дни...  
Такое лето на дворе...  
Лег луг за рощею покат.  
И раз, по запахам, по свету,  
ты ощутил в один закат,  
что это лето уж не лето.  
Ты раз проснулся. В небесах  
стояло солнце. Было восемь.  
Багряно рдела на ветвях  
сухая болдинская осень.  
И ты шептал ей:  
«Подожди».  
Но в шорохах ответ:  
«Пора».

Прямые длинные дожди  
идут с утра и до утра.  
С утра дождем изрезан день.  
Часы раздумий и занятий.  
Собаки мокрые худей,  
чернее и шеголеватей.  
Просторы ровные полей  
без края и конца бегут.  
На хворостинке воробей  
качался несколько минут.  
Стоит отяжелевший сад...  
Проехавшей телеги след...

Что может алчущий поэт  
в деревне, в осень, в листопад?  
Проездом завернет сосед,  
и ты соседу будешь рад.  
Пойдут обычные расспросы:  
«Какие новости в столице?»  
Расскажет: отрубили косу  
смешливой, смуглой и раскосой  
повинной девке-кружевнице.

Ходить по комнатам в халате,  
смотреть на небо на закате,  
припомнить, что в Москве парад,  
грома и блеск, салюты, флаги...

И вдруг почувствовать: пора,  
чтоб тень гусиного пера  
плыла, как парус, по бумаге.  
Чтобы широкий сизый дым  
висел распластанною птицей,  
чтобы, дыханием одним  
горя, исписывать страницы.  
Чтобы на несколько минут  
взглянуть, вздохнуть, увидеть вещи.  
Подумать:

это перечтут  
людские толпы. Как поймут?  
Иль освистав, иль рукоплещая?

Шаги услышать у дверей.  
То няня с чашкой у порога.  
И сразу станет веселей,  
теплей от сладкого ожога.  
Мальчишкой бешеным вскочить,  
на каблуке перевернутѣся  
и чай, причмокивая, пить  
из разрисованного блюда.

Понять усталость хорошо.  
Пробило полночь на часах.  
И дождь как будто бы прошел,  
опять как будто начался.

И снова взлет.  
Лети, рука,  
пока ты помнишь: было лето.  
Пока ты весь горитшь, пока  
ложится за строкой строка,  
и ты не должен знать, что где.  
француза гладкая рука,  
коротенький полет курка,  
пустое дуло пистолета.

1935

Уже сентябрь за окном.  
 Уже двенадцать дней подряд  
 все об одном и об одном  
 дожди-заики говорят.  
 Никто не хочет их понять.  
 Стоят притихшие сады.  
 Пересыпаются опять  
 крутые зернышки воды.  
 Но иногда проходит дождь.  
 Тебе лишь кожанку надеть,  
 и ты пойдешь, и ты поймешь,  
 как сладостна бывает смерть.  
 По синей грязи, по жнивью  
 иди, и думай, и свисти  
 о том, как много нужно выюг  
 просторы эти занести.  
 Они найдутся и придут.  
 К твоим дубленным сапогам,  
 к деревьям в ноги упадут  
 сплошные, спелые снега.  
 Мы к ним привыкнем.

И тогда  
 под каблуком засвишет лед,  
 и несоленая вода  
 гремящим паводком пойдет.  
 Вокруг тебя и над тобой  
 метнется зелень.

И опять  
 пакеты почты посевной  
 вне очереди подавать.  
 А тут лежал когда-то снег:  
 А тут пишал когда-то лед.  
 Мы разве помним по весне  
 о том, что осень подойдет.

Утрами.

                  только ото сна,  
припоминаем мы слова.  
И снова новая весна  
изм неизведанно нова.  
Тебе такой круговорот  
легко и радостно понять.

Промеж камней у ворот  
трава прорежется опять.

Вот так же прорасти и нам  
в иные годы и дела.  
Трава не помнит, как она  
безвестным зернышком была.

Апрель 1935



Чего же больше?

Время!

На людей

родных и сильных наглядеться в досталь  
и умереть, как умер этот день,  
замедленно,

торжественно

и просто.

22 сентября 1936

Да, останутся за плечами  
 иссык-кульские берега,  
 ослепительными лучами  
 озаряемые снега,  
 и вода небывалой сини,  
 и высокий простор в груди —  
 да, останется все отныне  
 далеко, далеко позади!  
 Все, что сказано между нами,  
 недосказано что у нас...

...Песня мечется меж горами.

Едет, едет горой Манас.

Перевалы,

обвалы,

петли.

Горы встали в свой полный рост.  
 Он, как сильные люди, приветлив,  
 он, как сильные люди, прост.  
 Он здоровается, не знакомясь,  
 с населением своей страны...

Это только играет комуз —  
 три натянутые струны.

Это только орлиный клекот,  
 посвист каменных голубей...

И осталось оно далеко,  
 счастье этих коротких дней.  
 Счастье маленькое, как птица,  
 заблудившаяся в пути.  
 Горы трудные. Утомится.  
 Не пробьется. Не долетит.

Как же я без него на свете?  
Пригаилась я, не дыша...

Но летит неустанный ветер  
с перевалов твоих, Тянь-Шань.  
Разговаривают по-киргизски  
им колеблемые листы.  
Опьяняющий, терпкий, близкий,  
ветер Азии, это ты!  
Долети до московских предместий,  
нагони меня у моста.  
Разве счастье стоит на месте?  
Разве может оно отстать?

Я мелодии не забыла.  
Едет, едет герой Манас...  
Наше счастье чудесной силы,  
и оно обгоняет нас.  
И пока мы с тобою в печали.  
Только счастья не прогляди.  
Мы-то думали: за плечами,  
а оно уже впереди.

И в осеннее бездорожье,  
по пустыне, по вечному льду,  
если ты мне помочь не можешь,  
я одна до него дойду.

Сентябрь 1936

## ПЕСОК

В кибитках у колодцев ночевать  
недели оставался ты подряд.  
Хозяева укладывали спать  
ногами к Мекке.

Помни шарият!  
В далекие кочевья ты проник,  
не выучил, а понял их язык,  
которому научит навсегда  
слегка солоноватая вода.

Ты загорел под пламенем лучей,  
с судьбой дехкан связал судьбу свою.  
Ты выводил отряд на басмачей  
и потерял товарища в бою.  
Всегда ты понимал: счастливы те  
лишь, у кого такие есть друзья.  
Вот он упал,

ты замер в темноте,  
но сразу понял: отставать рельзя.  
Был враг разбит.

Но тихо друг лежал,  
густая кровь сочилась из виска.  
Ты сам его обмыл и закопал  
и взял с могилы горсточку песка.  
И дальше жил, работал, отдыхал,  
в седле верблюжьем сутками дрожал,  
живую воду запасал в меха,  
на дальние колодцы уезжал.  
Песок и небо тянутся кругом,  
сухой полынью пахнет хорошо...  
Ты телеграммой вызван был в обком  
и распрощался.

И верблюды пошел.  
Верблюды пошел, вздыхая и пыля.  
Цвели узбекистанские поля,



когда в Москве проходит первый дождь,  
последний снег смывая с мостовой,  
и ты с работы запоздно придешь.  
негромко поздоровайся с женой.  
Ты чувствуешь?

Скорее выпей чай,  
большую папиросу закури.  
А спросит, что с тобой:  
не отвечай.

А спросит, что с тобой:  
не говори.  
И сделай вид, как будто ты уснул,  
зажмурь глаза, а сам лежи без сна.

В пустыне зацветает саксаул,  
в пустыне начинается весна.  
Внезапный ветер сладок и горяч  
Идут дожди, слышней шакалий плач.  
Идут дожди который день подряд,  
и оползает глиняный дувал.  
Перед райкомом рос кривой гранат.  
Он вдруг, бывало, за ночь зацветал.

И тихо встань. И подойди к столу,  
переступая с пятки на носок,  
там,  
в баночке,  
прижавшийся к стеклу,  
живет руками собранный песок.  
От одиночества и от тоски  
он потускнел,  
он потемнел,  
притих...

А там лежат начосами пески,  
и ветер разворачивает их.

Насушный хлеб, насушная вода,  
оазисы — цветные города,  
где в улицах висит прозрачный зной,  
стоят домишки к улице спиной,  
они из глины, и они низки.  
И посреди сгушающейся тьмы  
бесшумные сухие старики  
высоко носят белые чалмы.  
Народ спешит.

И ты, и ты спешит.  
Скрипит арба, и кашляет верблюд.  
На Регистане новые бахши  
«Последние известия» поют.  
Один кончает и в поднос стучит,  
глоточек чая пьет из пиалы.  
...Безлунна ночь, дороги горячи,  
и звезды невысокие белы...

И снова запевает о своем:  
Кричащая мелодия близка...

Встает рассвет московский за окном,  
шуршит в ладони горсточка песка.  
Таким песком серебряным покрыт  
простор тобой изъезженных дорог,  
а горсточка струится и звенит:  
«Не забывай...

Ты знал нас...

Ты помог...»

Стараясь и не думать о воде,  
пошел в пустыню, понял зной и жар  
и заставлял прислушаться людей  
гортанным обращеньем:

«Уртакляр!»

Таким песком засыпан верный друг...  
А горсточка струится и звенит:

«Не забывай нас...

Ты помог...»

Но вдруг

приемник незакрытый говорит.  
Как широка она и как стройна,  
большая песня наступленья дня.  
И в комнату врывается страна,  
великими просторами маня;  
звоня песками, травами шурша,  
звоня вскочить, задумчивость стряхнуть,  
сверкающие окна распахнуть,  
освобожденным воздухом дыша,  
ветрам республик подставляя грудь.

Август — сентябрь 1936

*Ташкент — Каракол — Москва*

## СТАРИК

(Повесть)

От моря струился родимый запах,  
вода, точно зверь, подымалась на лапах  
и двигалась бухтою Ильича,  
темна, и горяча, и горяча.  
Нашей республике нехватало  
хлеба, и топлива, и металла,  
а Биби-Эйбат заносило песком,  
а нефть под ногами у нас клокотала,  
а нефть бушевала на дне морском  
впустую.

Мы знали о том понаслышке,  
что существует затея одна —  
бухту засыпать, поставить вышки  
и нефть добывать из морского дна.  
Иные покачивали головами,  
не верили:

«Выдумка, дескать, пустяк!»

Мы думали, все обойдется словами,  
но обернулось на деле не так.

Я помню походку его и улыбку,  
простую повадку и ясную речь.  
Сказал он: «Чтоб кончить скорее засыпку,  
людей с пониманием надо привлечь».  
О всех инженерах ему говорили:  
«Больной. В эмиграции. Пущен в расход».  
Потоцкий?

Потоцкого мы не любили,  
заядлый, но много бы дал для работ.  
Да только пойдет ли? Не нашей закалки,  
плюется при слове одном «большевик».  
Но Киров настаивал.

Толстою палкой  
стука о пороги, явился старик.

Два голоса слышались из кабинета:  
«Я слишком уж долго мечтал об одном,  
проекты лелеял я долгие лета  
засыпать морское богатое дно  
на Биби-Эйбате.

О росте добычи,  
я думаю, нечего вам говорить.  
Нефтяники были во власти привычек,  
и море они не решались бурить.  
И все-таки я убедил их отчасти,  
но тут подошел восемнадцатый год,  
менялись владельцы и путались власти,  
кому до моих нереальных работ?..  
Теперь я могу оказаться обузой,  
мне ваших решительных темпов не снести.  
Потом я, простите, не член профсоюза...  
Конечно, я вам благодарен за честь,  
но, знаете, я далеко не уверен,  
что скоро и вас не лишат промыслов...»

Тут Киров закрыл аккуратнее двери,  
и мы уже больше не слышали слов.  
Лишь только два спорящих голоса.

Сколько  
они говорили, и вспомнить нельзя.  
Когда расставались, мы поняли: только  
уже не враги, но — еще не друзья.  
И несколько раз повторялась беседа.  
И знали об этой беседе в Баку.  
Конечно, за нашим осталась победа —  
куда переспорить его старику!

И старый Потоцкий пошел на работу.  
Сначала капризничал, злился, брюзжал,  
но, в нем все сильнее разжигая охоту,  
Миرونч на бухту к нему приезжал.  
И все, что просил он, ему доставлялось.

Машины? — Машины.

Рабочих? — Народ.

Он многих ругал за прохладцу, за вялость:  
«С такими ни в жисть не окончишь работ!»

Мы знали его при хозяине старом,  
и было обидно, что нынче опять  
в подручных ходить под таким, сухопарым,  
ему же — приказывать и кричать.  
И это, наверное, Киров заметил.  
Спросил даже как-то, зайдя покурить.  
Никто из ребят ничего не ответил,  
да было и нечего нам говорить.  
Я помню, сказал он:

«Потоцкий, ребята,  
ни много, ни мало, поймите одно —  
был первым разведчиком Биби-Эйбата  
и первый открыл богатейшее дно.  
Придумал засыпку и бухту измерил.  
Но дальше одно оставалось — мечтать.  
Хозяин затее его не поверил,  
чеканным рублем не хотел рисковать.  
Я сам понимаю, как трудно бывает,  
когда мы чего-нибудь очень хотим,  
а нашу мечту на корню убивают,  
и нет у мечты никакого пути...  
И стал он обиженным, злым и ехидным.  
Он людям не верил, любил побрюзжать...  
Когда нам бывает до боли обидно,  
мы сами других норовим обижать.  
Поменьше бы вы на замашки глядели,  
своих инженеров немного пока.  
А может, и он переменится в деле?  
Давайте попробуем старика».

Но мы промолчали.

Душа не лежала.

Старик-то уж больно, казалось, крутой.  
Ему изменяться и поздно, пожалуй.  
Который десяток... Пора на покой.  
Да можно ли верить ему?

Мы не мало  
в таких стариках узнавали врагов.

С удвоенной силой преграды ломала  
вода, оттесненная от берегов.  
Нас часто будили сигналы тревоги,  
и мы из бараков бежали туда,  
где, скрепы круша, подмывала дороги  
густая каспийская злая вода.  
Вставала, росла, задыхалась, орала,  
великую злобу таила в груди.  
И я не припомню такого аврала,  
где б не был старик. И всегда впереди.

Он просто увлекся работой. Он просто  
наткнулся на то, что годами искал.  
Немного сутулый, высокого роста,  
часами бродил он у взорванных скал.  
Он плох был глазами.

Глядеть было жалко,  
когда он работы осматривал сам,  
он все проверял и ощупывал палкой,  
не веря своим ослабевшим глазам.  
Порой приходилось работать по суткам —  
и с нами старик был и ночью, и днем.  
Ребята привыкли к остротам и шуткам,  
хорошую душу увидели в нем.  
За дело хвалил, по заслугам бранился,  
волнуясь за каждый участок работ,  
он так торопил нас и так торопился,  
как будто боялся, что скоро умрет.  
А зрение пуще слабело.

Однажды  
мы вышли закончить работу у скреп.

Потоцкого не было.

К вечеру каждый узнал, что старик совершенно ослеп. Но он не свалился и дела не бросил. Он с прежнею жадностью руководил, и бухту засыпали.

Лето и осень он, щупая палкой дорогу, бродил. И Киров, бывало, заедет на форде — «Нет, мне еще рано!»

И машет рукой. В открытье вручили Потоцкому орден, а он горевал, что не видит — какой.

И нам старикана уже нехватало, и каждый к нему, как к родному, призыв. И как-то обидно и горестно стало, когда мы узнали, что помер старик... Сидел за столом, опустил и помер.

Запомнился мне увеличенный лоб. На Ольгинской улице, в маленьком доме подняли ребята коричневый гроб. Шел май. Глубая погода стояла, и вся наша бухта его пронесла под тихое пенье «Интернационала» на наши великие промысла. Последние трубы вздохнули тревожно. Давайте же головы обнажим! Его мы положим на суше надежной, у моря для нас отвоеванной им. ...Он отдал работе последние годы, и цель перед нами сияла одна. Он телом теперь навалился на воды горячего, им побежденного дна. Вода не прорвется, лишённая силы, ее победитель старейший уснул.

Четыре недели стоял у могилы  
почетный товарищеский караул  
Ракушки, песок да коробочки мидий...  
И если стеной промысла подойдут,  
товарищ Потоцкий не будет в обиде,  
когда буровые могилу снесут.  
И будет последняя эта заслуга  
особенно памятна и дорога.

Спасибо, Мироныч, за верного друга,  
тобой отвоеванного у врага.

1937

## И Р П Е Н Ь

У вас, наверно, осень хороша!  
Легко откинув голову без шапки,  
пройти бы мне аллеей, вороша  
сухой листвы багряные охапки.

В прозрачный и трепещущий покой  
протягивая дрогнувшие руки,  
застыть бы над извилистой рекой,  
заглядываясь в ясные излуки.

Блаженна медленность осенних рек.  
Вода бежит,  
еще в ней краски живы,  
но вся она уже, как человек,  
утративший стремленья и порывы.

Я помню, как бродила тут весна  
своей неощутимой походкой  
и таяла, как легкий след весла,  
никак не поспевающий за лодкой.

Закаты были проще и ясней,  
неосторожно поджигали воду,  
но были не страшны они весне,  
могучему бесспорному восходу.

А нынче солнце медленно скользит,  
рассеивая горестную ясность,  
как будто издали ему грозит  
ничем неотвратимая опасность.

И мне уже не видно из-за хат,  
в какие пропасти оно заходит,  
но я, как осень, чувствую закат,  
дрожащий в вечереющей природе.

*Ирпень, май 1938*

## НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Мы будем суровы и откровенны,  
мы лампу закроем газетным листом.  
О самом прекрасном, о самом простом  
разговаривать будем мы.

Откуда нашлись такие слова?  
Неужто мы их придумали сами?  
Тихими, тихими голосами  
разговаривать будем мы.

Откуда мысли такие взялись?  
Едва замолчав, начинаем снова.  
Уже понимая друг друга с полслова,  
разговаривать будем мы.

Откуда чувства такие пришли?  
Наперебой, ничего не скрывая,  
глаза от волнения закрывая,  
разговаривать будем мы.

Что это, радость или печаль?  
Не удивляясь, не понимая,  
закуривая и спички ломая,  
разговаривать будем мы.

Наконец наступит какой-то миг...  
Почему побледнел ты? Уже светает.  
Великая, радостная, святая,  
перебив, оттеснив, растолкав слова,  
властно вступает в свои права  
любовь или дружба? Не знаю.

## ЧЕЛОВЕКУ В ПУТИ

### I

Я хочу быть твоею милой.  
Я хочу быть твоею силой,  
свежим ветром,  
насушным хлебом,  
над тобою летящим небом.

Если ты собьешься с дороги,  
брошусь тропкой тебе под ноги, —  
без оглядки иди по ней.  
Если ты устанешь от жажды,  
я ручьем обернусь однажды, —  
подойди, наклонись, испей.

Если ты отдохнуть захочешь  
посредине крошечной ночи,  
все равно — в горах ли, в лесах ли, —  
встану дымом над кровлей сакли,  
вспыхну теплым цветком огня,  
чтобы ты увидел меня.

Всем, что любо тебе на свете,  
обернуться готова я.  
Подойди к окну на рассвете  
и во всем угадай меня.

Это я, вступив в поединок  
с целым войском сухих травинок,  
встала лютиком у плетня,  
чтобы ты пожалел меня.

Это я обернулась птицей,  
переливчатую синицей  
и пою у истока дня,  
чтобы ты услышал меня.

Это я в обратном свисте  
соловья.

Распустились листья,  
в лепестках — роса.  
Это — я.

Это — я.

Облака над садом...

Хорошо тебе?

Значит, рядом,  
над тобою — любовь моя.

Я узнала тебя из многих,  
нераздельны наши дороги,  
понимаешь, мой человек?  
Где б ты ни был, меня ты встретишь,  
все равно ты меня заметишь  
и полюбишь меня навек.

## II

Мне раньше казалось, что наша любовь — это дом,  
под маленьким небом поставленный нами с трудом.  
Там сброшена ноша, озябшие руки согреты,  
там милые вещи, уюта смешные приметы.  
Прозрачное дерево тихо дрожит у порога,  
и, может быть, тут и кончается наша дорога.

Потом я решила, что наша любовь — это сад,  
где ясные дни на коричневых ветках висят,  
где каждый росток существует спокойно и мудро,  
где круглые сутки — осеннее раннее утро.  
А тихое небо, знакомое, наше, такое,  
что, кажется, облачко можно поправить рукою.  
И дождиком пахнет, и слушают ветер травинки,  
из мхов и кустарников в мир вытекают тропинки.

Теперь я уверена: наша любовь — это путь,  
чуть видная тропка и снова большая дорога.  
Ночевки под звездами, вздох, наполняющий грудь,  
усталость и счастье — сладчайшая в мире тревога.  
Нам служит пристанищем наша большая земля.  
Взлетают рассветы... Сырые брезенты палаток...  
В туманных долинах дымок кочевого жилья  
и легких заплечных мешков дорогой беспорядок.  
Пусть камни теснятся, пусть скачет и плачет вода.  
Пусть ливни и громы и радуга, словно ворота.  
Пусть наша любовь остается такой навсегда,  
вперед уводя неразгаданностью поворота.

### III

Не лишай меня права тебя ревновать,  
задыхаясь от каменной муки.  
Прикажи мне уйти для того, чтоб узнать  
освежающий холод разлуки.

Иль тебе непонятно, что значит любовь,  
от которой нам некуда деться?  
Это легкое тело, тяжелая кровь  
и крылатое светлое сердце.

Это раннее утро и ранящий нож,  
разрезающий душу на части.  
Это храбрость и страх, это пламень и дрожь,  
унижение, величие, и честность, и ложь,  
из которых слагается счастье.

### IV

Я не хочу тебя встречать зимой.  
В моей душе ты будешь жить отныне  
весенний, с непокрытой головой,  
как лучший день мой, как мечта о сыне.

Я не хочу тебя встречать зимой.  
Боюсь понять, что ты старей и суше,  
услышать, как ты ссоришься с женой,  
увидеть, как ты к другу равнодушен.

Боюсь узнать, что хоть короткий миг  
случается тебе прожить скучая,  
увидеть, как, поднявши воротник,  
спешишь ты, облаков не замечая.

Хочу тебя запомнить навсегда —  
моим знакомцем, путником, влюбленным  
в дороги, реки, горы, города,  
беспечным, ненасытным, изумленным.

Живи таким, как в памяти моей,  
подверженный порывам и тревогам,  
всегда люби деревья и зверей  
и много знай и спрашивай о многом.

Заглядывайся так же далеко  
прозрачными бродячими глазами.  
Мне иногда бывает так легко, —  
я вспоминаю: ты живешь меж нами.

Покуда день, покуда будут течь  
стремительные, вспененные реки,  
таким тебя мечтаю я сберечь,  
тебя такого я люблю навеки.

И если даже ты придуман мной,  
такой, какого встретить мне хотелось,  
я не хочу встречать тебя зимой,  
чтоб выдумка моя не разлетелась.

## КАМНИ

Неправда это, я не знала горя.  
Его совсем, наверно, в мире нет.  
Стоит меж гор янтарный тихий свет,  
колеблется и тает, догорая.  
Ясней и четче ближние гряды,  
и все пространство полнится до края  
прохладным щебетанием воды.  
Вода везде,

то явственней,

то глуше,

и никакую песней не пресечь  
ручьев,

речонок,

речек

и речушек

куда-то торопящуюся речь.

Черней и полноводнее к закату,  
они стремглав бегут во весь опор.

Еще я удивлялась аромату,  
летающему в мире среди гор.

Чем это веет? Древностью? Веками,  
которых тут немало протекло?  
Нет, это просто пахнет душный камень,  
дневное излучающий тепло.

Потом внезапно остужает ноздри,  
то дышит камень новый, молодой,  
обрызганный вечернею водой,  
и этот запах ясный, быстрый, острый  
совсем меня кружит.

Не говори!

Наверно, горя нет совсем на свете,  
когда из-за горы прощально светит  
осколок провалившейся зари.

Не может быть.

Моя судьба легка мне.

Есть у меня тропинка под ногой.

Не может быть, не нужно мне другой.

Я счастлива.

Я твердо верю в камни,

да в вырезное небо, в этот свет,

устало оседающий в глубины,

да в этот день неощутимо длинный.

Остановись, мгновенье!

Или нет.

Иди вперед, мгновенье.

Дальше, дальше...

Иди вперед, не думай, не спеши.

Пред нами мир без выдумки, без фальши,  
навек открытый для моей души.

Позволь мне только в шелесте и пеня  
тех каменных, тех вертикальных рек

в молчаньи опуститься на колени

и просто благодарными руками

снять, как друга, старый теплый камень,

как может сделать только человек.

## ЗАРЯ

Мне подарили узкую зарю,  
и, как вино в невидимом бокале,  
она стоит в сияющем пространстве  
меж двух вершин.

За ранний ветер странствий  
за шум воды, за облачные дали  
я тропку трудную благодарю.

Открылся мне загадочный полет  
красы извечной, дикой, бесполезной  
и бескорыстное иное счастье —  
не от удачи, не от острой страсти,  
а от сердцебиения над бездной,  
от головокружительных высот.

Мне это счастье говорит: «Иди!»  
Алеет небо теплое спросонок.  
Оно над городами вроде крыши,  
а тут ему пришлось взлететь повыше.  
И облако, как серенький ягненок,  
свернувшись, спит на мертвенной груди.  
Но я не верю мертвенности гор.  
Они — народ, судьбой соединенный,  
зажить решивший неподвижной, глуше.  
У них большие искренние души,  
и нрав прямой, и жесткие законы,  
и каменный короткий разговор.

И знаю я, что в их законах есть  
столетьями обдуманная месть  
бродячему, крикливому народу,  
но я ее несколько не боюсь.

Доподлинно известно мне, что каждый,  
кто их однажды разгадать решится,  
томиться будет, как в неволе птица,  
в разлуке изнывая, как от жажды.  
Его настигнет месть, и он вернется.  
Вернется в горы.  
Как и я вернусь.

## ХОТТА — ТАНЕЦ БАСКОВ

Был теплый дом и добрый мир,  
был свежий хлеб и козий сыр.  
Был плох посев и труден труд  
и скудный камень скуп и крут,  
но в праздники в родных долинах  
плясали люди, — стар и млад, —  
и вился воздух пляске в лад,  
под звуки скрипок и волюнок.

Рос лавр у старого крыльца,  
летели бабочки к маслинам,  
кремневое ружье отца  
висело косо над каминном.  
Проснулись как-то поутру,  
стояло солнце за дверями.  
Увидели, что нет ружья.  
...Прощались с женами мужья,  
сыны прощались с матерями...

А вы не знали о враге.  
Трещали сучья в очаге,  
обед нехитрый — баланда —  
горох и постная вода —  
на легком пламени кипела,  
братишка на одной ноге  
скакал...

Не знали о враге.  
И девушка о милом пела.  
и прыгали что было сил,  
и мяч бросали за ворота,  
когда им солнце заслонил  
зловещий контур самолета.

И все. Остался дым и крик,  
каменья и людей немного.  
Вела, ущельем напрямик,  
крутая узкая дорога.

Туман ложился, ветер дул,  
жолот шиповник, пахло мятой,  
гнузил осел, и падал мул,  
шли овцы, плакали ребята...

Они спустились в город с гор.  
Народу много, ветра мало...  
И море — пенистый простор —  
на камень шло и отступало.  
Был нарисован пароход  
пером на голубой эмали.  
Чужие женщины сирот,  
беззвучно плача, обнимали.  
Не надо плакать!

Мы поем  
испанский гимн, и вы не плачьте.  
Не надо плакать!

Мы плывем,  
и ласточки сидят на мачте.

Как много пролетело дней!  
Там лето кажется пожарче.  
Тут небо кажется бледней,  
но флаг неизмеримо ярче.  
Все реже в темных их глазах  
печаль.

Ребята делят с нами  
и наше небо в облаках,  
и наши праздники, и знамя.  
И в трудный северный мороз  
их отогрели наши ласки.  
Они забыли привкус слез  
и вспомнили родные пляски,  
родную музыку.

И вот,  
Большой театр залит огнями.  
Испанских девочек полет  
под звуки хотты перед нами.

Испанских девочек полет...  
Так некогда в родных долинах  
плясал и пел простой народ  
под звуки скрипок и волюнок.  
Лети же, музыка, лети!  
Ночное небо в острых грозах.  
Я вижу горные пути,  
я слышу долгий скрип повозок.  
Я вижу беженцев глаза,  
я слышу, как жужжат Капрони...  
Не то! Не то!  
Я вижу зал,  
я слышу, как стучат ладони.

Как будто кто-то вдруг открыл  
у птичьей клетки настежь дверцы.  
Не гром ладоней — шелест крыл —  
в аплодисментах слышит сердце.  
Встают пилоты и бойцы,  
вперед протягивают руки,  
и детям кажется: отцы!  
как будто не было разлуки.

Не гром ладоней — грохот рек!  
И детской нежностью увенчан  
в глубокой ложе человек  
в полувоенном светлом френче.  
Ликуй же, музыка, играй,  
рассказ рассказывая стройный  
о том, что есть на свете край,  
как облик Сталина, спокойный.

Я только тем завидую, кто помнит  
о вас, как о недавнем, о живом.  
А мне остался только старый дом  
да неживой покой музейных комнат.  
По мне, так эти комнаты узки  
и слишком обжиты и невысоки  
для вольной мысли, для живой тоски,  
которые с трудом вмещались в строки.  
И вы пошли расталкивать строку  
тяжелыми квадратными плечами.  
Вот комната, где трудными ночами,  
усталый дым пуская к потолку,  
стихи, еще горячие, кончая,  
вы все шагали от дверей к стене.  
Как я хочу, чтоб ваша боль ночная  
хотя бы раз вовек пришла ко мне.

Как тихо тут. А некогда, бывало,  
звонили в двери — успевай, встречай!  
Курили, спорили, до света пили чай,  
играли в карты... Только вам все мало.  
Играть — так сутки,  
спорить — до утра,  
до шума первой вышедшей газеты,  
чтоб в дом, нарушив все границы и запреты,  
со всей вселенной ворвались ветра.

Тогда вставал он,

        прям,

                        широк в кости.

Чтобы с большим противником сразиться  
и устоять,

        не дрогнуть,

                        не склониться,

таким могучим стоило расти.

Он был по росту времени, по росту  
любви человеческой большой.

Минуты дни, как в будущее версты,  
он жить хотел, как это время просто,  
всей кровью,

всем сознанием,

всей душой.

И он стоял, большой, огнеупорный,  
ломаю неуступчивую бровь.

Для неумных сил его просторны  
коммуна,

революция,

любовь.

Он так хотел любить и так любил,  
придумывая, веря, задыхаясь,  
как будто море, припадая, пил  
и выпивал до дна, не отрываясь.

Его любовь, как небо над землей,  
все понимала,

знала,

примечала.

Он не делил ее таргашеской рукой  
меж революцией, родной ему с начала,  
и женщиною самой дорогой.

И дружбы он хотел незаменимой, той,  
необоримой, верной и упрямой,  
чтоб выставить неверье зимней рамой  
и захлебнуться светлой высотой.

Чтоб он поверил и найти в ней мог  
тепло огня и выдержку металла.

А дружба мельтешила возле ног  
и выше рукава не залетала.

Хорошие товарищи в грозе,  
в затишьи оказались не такими,  
а он еще не мог расстаться с ними:  
и не умел найти других друзей.

Так много было шушеры вокруг,  
так много пыли у сапог осело.  
А если был какой хороший друг,  
то с ним его рассорили умело.  
Быть может, он задумался об этом,  
один маяча улицей ночной,  
похолодев, застыв перед ответом,  
под распыленным и неярким светом,  
под незаметной городской луной.  
И крепко сжав непримиримый рот,  
он догадался, отряхнув охулки,  
что пишет он для мира, а живет  
в литературном узком переулке.  
Что он, который так отчетливо велик  
в газетной полосе, в битком набитом зале,  
сейчас лишь только малый ученик,  
которому урок не подсказали.  
Еще не все задачи решены...  
Как тихо в мире, только выются галки  
да слышен медный наконечник палки  
среди сырой апрельской тишины.  
Идет ночными гужими шагами  
великий одинокий человек.  
Рассветный тихий дождь...

Туманный камень.

Москва.

Тридцатый год.

Двадцатый век.

В такой притихший утомленный час,  
при дрогнувшей замедлившей погоде,  
решения важнейшие для нас  
отчетливо и холодно приходят.  
И вот в такой забрезжившей тиши  
находим мы приметы для души,  
мужаем сразу, никогда не плачем.  
Но я хочу, чтоб он тогда решил,

не знаю что, но как-нибудь иначе.  
Чтоб вечное желанье вечно жить  
его уж не покинуло вовеки,  
чтоб он с природой стал тесней дружить,  
любить деревья, ручейки и реки.  
Расправив плечи вещевым мешком,  
по каменной тропе, по снеговому мосту  
отправился к товарищам по росту,  
в живые горы бы ушел пешком.  
Полынным ветром бы наполнил грудь,  
унес бы вкус пастушеского дыма...  
Так хочется придумать что-нибудь,  
как будто можно время повернуть  
и то поправить, что непоправимо.

Чем чаще повторяют ваше имя,  
тем резче мне бросается в глаза,  
что мы теперь становимся такими,  
какими вы были десять лет назад.  
Не на граните и не на портрете,  
вас на земле сегодня вижу я,  
в строю бойцов, в развернутой газете,  
в пороховом и неподкупном свете  
высокого сегодняшнего дня.  
Опять не опуская головы,  
идете в этом общем нашем мире.  
Границы наши делаются шире,  
страну меняя для таких, как вы.

Когда большие здания стоят,  
как каменные очертанья славы,  
и зимний ослепительный закат  
уходит в дымы Пресненской заставы;  
когда я вижу улицы Москвы,  
расширенные волей человеческой,  
мне хочется, чтобы, приняв на плечи  
на землю опускающийся вечер,

на перекрестке вдруг явились вы.  
И ваше очертание храня,  
асфальтовые вспыхнули б полотна,  
и, подождав зеленого огня,  
вы медленно пересекли б Охотный.  
И я клянусь, никто бы не нашел  
ни одного неверящего взгляда.  
Вот Маяковский! Очень хорошо!  
Все правильно, на месте  
все, как надо.

*Москва, апрель 1940*

## ЗИМА ЭТОГО ГОДА

(Поэма)

*Помню, когда я прочитал в книге  
Ольденбурга «Будда, его жизнь, учение  
и община»: «Всякое существование суть—  
страдание» — это глубоко возмутило  
меня, я не очень много испытал радо-  
стей жизни, но горькие муки ее казались  
мне случайностью, а не законом.*

М. Горький

1

Постой,

                    сначала был февраль  
и теплый снег еще летал.  
Какой-то парень, хлыщ и враль,  
со мной на лавочке болтал.  
О чем — забыл, наверно, сам  
мой собеседник.

                    Я была  
почти глухую; я ждала  
твоих московских телеграмм.

А в доме отдыха у нас  
до полдня не было газет.  
Уже двенадцать... скоро час,  
библиотекаря все нет.

И телеграмма...

                    Пишешь ты  
в обычном сочетаньи слов,  
что все в порядке, сын здоров.  
Газет широкие листы  
шуршат, как двинувшийся лед.  
Нам видится сверканье глыб.

Где дирижабль?

Пошел в полет,  
блестящий, смелый,  
и — погиб.

Врасплох застигнуты бедой,  
умолкли мы, притихли мы,  
а день был яркий, молодой,  
в последнем месяце зимы.  
И мы, вот, будем дальше жить,  
вставать,  
ложиться,

есть  
и пить,  
вестей последних утром ждаты,  
но что бы день ни приносил,  
ни на минуту не терять  
упорной веры, ясных сил.  
Того, что нам всего трудней,  
добьемся в мужестве своем,  
и этот день, как много дней,  
пройдем,  
продышим,  
проживем.

Из девятнадцати людей  
я знала штурмана, и он  
был смел, спокоен и силен  
и назывался Алексей.  
Слова теплее бы найти,  
чтоб в них таился дружбы свет.  
Бегу по лыжному пути,  
а вот Алеши больше нет.

Я убегала далеко,  
к седым излучинам реки.  
Над запорошенной рекой  
сугробы были высоки.

Туда я устремляла бег  
скользящих, легких лыж своих,  
с трамплинов тех береговых  
в нетронутый слетала снег.

А вот — Алеши нет в живых.

А время шло, и день погас,  
оставив розоватый след,  
и в доме отдыха у нас  
уже зажгли неяркий свет.  
Еще не уходил никто,  
с тоски затеяли лото,  
и патефон, — в который раз? —  
хрипел о паре черных глаз.  
Шла речь о том и о другом...

Я вышла вечером одна.  
Зима раскинулась кругом  
бела, спокойна, холодна,  
своим величием гордясь,  
уже подтаяв у крыльца,  
в своем предчувствии таясь,  
как будто вовсе не боясь  
неотвратимого конца.  
Февральской ночью для меня  
ее торжественность смешна,  
уж где-то рядышком слышна  
подземной жизни толкотня.  
Снега высокие сойдут,  
и солнце выпьет влажный след.  
Какое лето встанет тут!  
Какой раскинется рассвет!  
Какая птица запоет!  
Какая песня зазвучит!

А где-то в памяти стучит:  
«А вот Алеша не придет».

И прометалась я всю ночь,  
забыться было мне невмочь.  
В глазах один слепящий блеск  
полярных тронувшихся льдин,  
в ушах зловещий шум один:  
далекой льдины первый треск.  
А в памяти:

«Алеши нет  
на свете больше,  
и в беде  
отважных четверо людей»

Скорее бы настал рассвет!  
И вот, пылая и горя,  
объяв широкие луга,  
упала ясная заря  
на обреченные снега.

2

Как прожила я этот год?  
Что мне пробиться помогло?  
Как много на меня легло  
больших и маленьких невзгод.  
Быть может, личные дела  
чужды поэме?

Полно, нет.  
Пора чудесная была,  
всходило солнце, плыл рассвет,  
дымок сиреневый вился,  
когда мой мальчик родился.  
Он плакал, точно был не рад  
тому, что смотрит и живет.  
А мне казалось: все пойдет  
теперь по-новому, на лад.  
И сердце помнит и таит,  
назад по времени скользя,

записки добрые твои  
и сына синие глаза.

Наш угол прост и небогат,  
но он родной и обжитой.  
И в доме трепетал закат,  
когда вернулись мы домой.  
Был полон розовый простор  
дрожащем голубиных крыл.  
Ты письменный дубовый стол  
цветастой скатертью покрыл,  
и он, сконфуженный, стоял  
на четырех резных ногах,  
до странности напоминал  
мужчину в юбке, в сапогах.  
Тебе спасибо за уют,  
за нежность и за теплый дом,  
за то, что девочки поют,  
играя в классы под окном.  
Пусть горечь улетит, как дым!  
Пусть мы с улыбкою живем.  
Счастливым, дружным, молодым  
еще прекраснее втроем.  
Пусть горести сгорят дотла!  
Пусть беды отлетают прочь!  
И для меня была светла,  
ясна, открыта даже ночь.  
И я не ведала о том,  
что вдруг в какой-то день и час,  
раскрыв без стука двери в дом,  
невзгоды ринутся на нас.

3

Я заболела. Холод, жар...  
Меня мотало и трясло.  
Как ветром схваченный пожар,  
недомогание росло.

Уже за сорок.

И в бреду  
мне вдруг казалось:

я бреду  
в крошечном мраке...

Или нет!  
Вокруг меня слепящий свет  
дневного солнца...

Нет, не то!  
Водой холодной залито  
пустое поле...

Или нет!  
Шумит волна, мне десять лет...  
Постой, какие десять лет?  
Меня на свете больше нет.  
Я умерла.

Прости, прости,  
судьба нелегкая.

Замри,  
душа, зажатая в горсти.  
Меня напрасно не кори  
и без меня, сынок, расти.  
Расти скорей,

расти таким,  
как я тебя хотела знать.  
Суровым, ласковым, моим,  
расти, сынок, и помни мать.  
Я умерла?

Постойте!

Нет!  
Вот я живу, я вижу свет.  
Вот это я!

Еще стучит  
о ребра сердце  
и кричит  
забавный, маленький, родной,  
мальчишка, выношенный мной.

Вот градусник в твоей руке  
и лед в резиновом мешке.  
Взяв пузырьки, читаешь ты  
рецептов длинные хвосты.  
Как ты устал и похудел!  
И мне уж сразу ясно, где  
все происходит, что со мной.  
Любимый мой, товарищ мой!  
Я вижу август за окном,  
дома, последнюю траву.  
Я помню только об одном:  
я существую, я живу.

4

Так жить я начинала вновь,  
как травы рвутся из камней,  
дышать и чувствовать любовь  
мою к другим, других ко мне.  
Всей жизни свойственно мечтать,  
равно в начале ли, в конце ль,  
во что-то верить, выбирать  
большую, подвижную цель.  
Вот так случилось и со мной.  
Мои мечты вернулись вновь.  
Сильнее застучала кровь  
моей осеннею весной.  
Уже собралось со двора  
ненастье осени,

и мне

в болезни, мешкотной возне  
давно казалось, что пора  
приняться за обычный труд,  
по-настоящему, всерьез,  
чтоб загорелся старый трут,  
чтоб пламя яркое взвилось,  
чтоб искры ветер уносил,

как осень красную листву.  
Избыток чувств, излишек сил  
меня готовил к торжеству.  
Мне все сегодня нипочем.  
Живые силы бьют ключом,  
и всю меня влечет вперед,  
с тобою рядом,

в шаг,

впопад.

И мне казалось:

все пойдет

теперь по-новому, на лад.

5

В то лето милое, когда  
мы повстречались и сошлись,  
как это водится всегда,  
друзья-советчики нашлись.  
И говорили:

«Засосут

уютя топкие пески.

Поймешь, как многие живут,  
растя ребят, чиня носки».

Тревогу горькую тая,

у песни спрашивала я:

«Ужели, песня, это так?

Ответь, рассей постылый мрак.

Верни мне силы, молви «нет»,

моя подруга и сестра.

Ужель ты лишь неверный свет

в ночи взлетевшего костра,

который можно, как водой,

залить нечаянной бедой».

Брала я за руки ее,

я вглядывалась ей в глаза:

«Открой грядущее мое.  
Тебе не верить мне нельзя.  
Свои законы предъяви,  
чтоб прояснилось впереди.  
Великой радости любви,  
тепла ребенка на груди,  
неясным маревом маня,  
ужели ты лишишь меня?»

А если ты ответишь «да»,  
что буду делать я тогда?  
Неужто мне достанет сил  
и молча я тебе отдам  
и жар любви, и юный пыл  
и ринусь по твоим следам,  
забыв и друга, и покой,  
лишь сердце придержав рукой,  
чтоб не стучало много лет.

Но песня отвечала:  
«Нет!  
Ждала ты слова моего?  
Ступай, не бойся ничего.  
Изведай все в свои года,  
от ненависти до любви.  
Все протерпи, переживи  
и, переживши, мне отдай».

6

И вот уж мы вдвоем с тобой,  
к причалу одному гребя,  
под нашим солнцем и луной,  
друг друга бережно любя.  
Казалось бы, чего еще?  
Мы молоды, и путь широк.

Еще практический расчет  
нам был с тобою невдомек.  
И нам казалось: все пойдет  
теперь по-новому, на лад.  
Но так был труден первый год,  
что страшно мне взглянуть назад.  
Одна сумятица, одно  
чередованье неудач.  
Как будто тянет нас на дно.  
Ничто не ладится, хоть плачь!  
Опять тарелки нужной нет,  
к соседям совестно стучать.  
Опять консервы на обед  
ножом без ручки открывать.  
Хотелось думать не о том,  
хотелось дальше заглянуть.  
А чемоданы под столом  
мешали ноги протянуть.  
Признаться, не бывало дня,  
чтоб мне не плакалось в тот год.  
Болезни — целый хоровод, —  
наветы, жалобы, родня,  
обиды, споры, теснота,  
забот постылых два горба.  
Нет, милый друг, совсем не та,  
не та тропа, не та судьба.

7

Чередовались злые дни,  
трубя в походную трубу,  
и мы с тобой несли одни  
свою нелегкую судьбу.  
Но было иногда невмочь,  
хотелось, чтоб явился друг,  
чтоб кто-нибудь пришел помочь,  
хоть словом, хоть пожатьем рук.

Звонок.

И я бегу к дверям...  
«Опять к соседям, а не к нам!»

А впрочем, почему друзья?  
Не в них, пожалуй, суть сейчас.  
И их ни в чем винить нельзя.  
Они, наверно, помнят нас,  
боясь не во-время притти  
и слов уместных не найти,  
придумав, что в «медовый год»  
уж я не та и ты не тот.

Еще спокойствие храня,  
во мгле искала я просвет.  
Повестка вызвала меня  
на комсомольский комитет.

Моя земля! В большой борьбе  
не просто было жить тебе.  
К твоим гранитным берегам  
подкрасться удалось врагам.  
Не долго их скрывала ложь,  
они шумели невпопад.  
Их выдавала пальцев дрожь,  
нетлястый шаг, блудливый взгляд.  
Был трудный год, суровый год.  
Далеко слышен гром шагов —  
пошел разгневанный народ  
на притаившихся врагов.  
Вела нас праведная месть.  
Был взгляд острей, рука тверда.  
Но в нашей бдительности есть  
огня великая черта.  
То наша чуткость — наш закон,  
родная дружба всех людей.  
Она в огне больших знамен,  
в сиянье самых малых дел.

И больно знать, что с нами был,  
что между нами скрыться мог,  
такой, кто чуткость позабыл,  
кто нашей правдой пренебрег.  
Кто слишком выпренно кричал,  
кто разобраться не давал,  
кто так, с размаху, сгоряча  
своих людей врагами звал,  
за то, что улицей одной  
с врагом народа ты прошел.  
(Так самый мудрый и родной  
простую формулу нашел.)

Но правда наших трудных дней,  
как воздух, движется насквозь,  
хоть ты ключи на дно забрось,  
замки сорвутся перед ней.  
Сухарь не стиснет никакой  
ее костлявою рукой.  
Ее чинуша ни один  
в бумаги «дела» не вошьет.  
Она пробьется и пройдет,  
и вдруг забрызжет впереди.  
Так, озаряя верный путь,  
как в море светом маяка,  
прогнало гниlostную муть  
постановление Цека.

Ребята! Если кто забыл,  
то я изпомню вам тогда.  
Партприкрепленный, право, был  
перестраховщик хоть куда.  
Он указательным перстом  
неукротимо потрясал,  
меня избличая в том,

что, дескать, кто-то написал,  
что, дескать, где-то, как-то раз,  
я обменялась парой фраз  
с какой-то сволочью.

И вот  
партизменский кары ждет.

Меня никто и не спросил  
о том, как я сейчас живу,  
и для меня тот вечер был,  
как сон тяжелый наяву.  
А жизнь моя и впрямь была  
такой тяжелой, что тогда  
я больше помощи ждала,  
чем проработки и суда.  
Вот этот небольшой билет,  
с которым мне прожить дано,  
в котором много наших лет  
на месяцы разделено.  
По членским взносам пробегу,  
припомнить всю себя могу  
за эти годы.

Это с ним  
мы шли под знаменем одним.  
Ужель меня хотят лишить  
того, что помогало жить,  
что было силою моей  
в минуты самых трудных дней,  
что помогало выплывать  
наверх уже почти со дна,  
что мне всегда давало знать,  
что я сильна и не одна.  
И не одна.

А как теперь?  
Неужто никого вокруг?  
Неужто не найдется друг,

который постучится в дверь,  
придет на помощь мне.

И впрямь  
звонили.

Мчалась я к дверям,  
цепочку ржавую рвала  
и, настежь двери распахнув  
и запах лестницы вдохнув,  
письмо далекое брала.  
Конверт был тепл от многих рук,  
передававших мне его,  
и мне казалось: он живой,  
в нем даже слышен сердца стук.  
Он запыхался.

Он бежит  
оттуда, где звенит простор,  
где охраняет рубежи  
военный лагерь наших гср,  
где яркость маковых полей,  
ветра Киргизии моей.

Ты положил в пустой конверт  
в квадратик сложенный привет.  
Ты говоришь ему:

«Лети!»

Мерцают синие пути,  
горят на стрелках огоньки,  
меняются проводники.  
Мелькают дни и вечера,  
тугие провода гудят,  
бегут колеса, и сидят  
над графиком диспетчера.  
Рассеивая дым и жар,  
состав врывается в зарю.  
Вас, машинист и кочегар,  
за скорость я благодарю.

Вас, сцепщики, почтовики,  
проводники и слесаря!  
Могучей, дружеской руки  
пожатье ощущаю я.  
Вы — граждане страны моей!  
Мы ходим по одной земле.  
Работа ваших славных дней —  
забота ваша обо мне.  
Письмо от друга пронесла  
страна товарищей моих,  
и письмоноша принесла  
его ко мне в тяжелый миг.

Письмо от друга.  
Горячо  
пожатье дружеской руки.  
Уж мы опять не далеки.  
Письмо товарища.  
О чем?

О чем бы он ни написал,  
мне горный видится «секрет»,  
по склонам стелется рассвет,  
ложится мелкая роса  
на ворс шинели.

И пока  
восходит из-за гор заря,  
багряным отсветом горя  
в трехгранном зеркале штыка,  
он вспоминает в тишине  
дорог, лежащих за плечом,  
о нашей дружбе, обо мне  
и пишет мне письмо.

О чем?  
О чем?  
Да так, о мелочах.

О первых солнечных лучах,  
о кашеваре-старике,  
о командире-чудаке.  
Что ночь в «секрете» холодна,  
что я на свете не одна.  
Спросить хотелось у листа:  
«Да ты не очень ли устал?  
Ступай, помойся. Ванна есть.  
Я соберу тебе поесть.  
На сына моего взгляни,  
на раскладушке ляг, усни.  
А то опять, как год назад,  
ватага ввалится ребят,  
а там уж до утра...»

И впрямь  
опять звонили. Я к дверям  
бежала много раз подряд,  
цепочку ржавую рвала,  
одних ребят, других ребят  
за руки теплые брала.  
Пальто на вешалке висят,  
ребята в комнате шумят:  
«Ошибки мы не проглядим,  
тебя в обиду не дадим».  
И голос юноши горяч,  
и чашки вымыты не зря.  
Цветной наклейкою горя,  
стоит под лампой «спотыкач».

Законы дружбы высоки.  
Светло звучанье слова «друг».  
Знай силу собственной руки  
и цену верных братских рук.  
Законы дружбы жестоки.  
Большая боль таятся в том,  
чтоб другу, ставшему врагом,  
суметь не протянуть руки.

В непобедимый мощный класс  
законы дружбы вяжут нас.  
Как моря синий непокой,  
сильны мы. Нам предела нет.  
Но море зачерпни рукой —  
и море потеряет цвет.  
И без друзей прожить нельзя,  
и без друзей не стоит жить.  
Но, чтоб тебе нашлись друзья,  
ты должен сам уметь дружить.  
Без пышных фраз, умильных слез,  
не ради красного словца.  
дружить сурово и всерьез,  
поверив другу до конца.  
Но помни:

если ты погряз  
среди недостойных склок и дряг  
и сам себя зарыл в беду,  
друзья на помощь не придут.  
И не придут они и там,  
где должен ты пробиться сам  
и где для дела не нужны  
сентиментальные слова.  
Друзья жестоки и нежны,  
и я отныне такова.

8

Но сквозь усталость, грусть и муту  
напраслин, наведенных зря,  
сумела ярко проглянуть  
другая, ясная заря.  
Рос мальчик.

Он возник во мне,  
как песня, как мечта о ней.  
Как птица, бился он в моей  
блаженной тайной глубине.

Когда родился он, такой  
вокруг меня стоял покой.  
Так после бури и борьбы  
стихают шумные дубы.

Так песня,

прежде чем взлететь,  
в груди трепещет, бьет крылом,  
и полон ты желанья петь,  
и запеваешь.

А потом  
блаженно затихаешь ты  
от плодотворной пустоты.  
И вот живет он вне меня,  
мой мир собой заполняя.  
Моей заботой окружен,  
уж он живет, вооружен  
своими чувствами, своим  
сознанием руководим.  
Смеется радостям своим,  
в восторге ножками стучит.  
От боли, ошущенной им,  
а мне неведомой, кричит,  
уже не этот, а другой  
предмет глаза его зовет.  
Уже живет он сам собой,  
уже он без меня живет.

Но нас связующую нить  
ничто не может разрубить.  
Едва узнав тебя, едва  
еще взглядевшись в твой рассвет,  
тебя уже я вижу в два,  
и в десять, и в пятнадцать лет.  
Нет у меня такой мечты,  
в которой не живешь и ты.  
Уже ты часть меня самой.  
У нас грядущее одно.

Что ждет отныне нас с тобой?  
Что нам с тобою суждено?  
Ты весь, ты беспредельно мой.  
Ты приобщен к моим стихам.  
А он блаженно затихал  
в корыте с теплою водой.  
Почти не плача, выросал,  
смеялся, гукал, говорил,  
как трубку, сосочку курил,  
гулял, купался, ел и спал.  
И обижался.

Не могу  
забыть гримаску возле губ.  
И жил.

И был заметно рад  
тому, что это он живет.  
И мне казалось: все пойдет  
теперь по-новому, на лад.

9

Люблю я зиму.

Спящих рош  
отяжеленность и покой,  
стсянку ветра над рекой,  
просторов сдержанную мощь.  
Люблю я плазность линий в ней,  
волнистость замерших снегов  
в раздольи пашен и лугов,  
в свеченьи крошечных огней.  
И блеск дорог, и тусклый лед,  
и дымов медленный полет.  
Итак, еще стоял февраль,  
и теплый снег еще летал.  
Какой-то парень, хлыщ и враль,  
со мной на лавочке болтал.  
И в этот самый день и час  
моя поэма началась,

и весть печальная до нас  
сквозь непогоду донеслась  
о том, что уж Алеши нет  
на свете больше

и в беде  
отважных четверо людей,  
и был нерадостен рассвет.  
Ты телеграммой звал меня.  
И поездом двенадцать пять,  
с трудом спокойствие храня,  
в Москву вернулась я опять.

10

Порой, попав в крошечный мрак,  
в минуты проживешь года.  
Ужели только месяц?

Да.

Неужто целый месяц?

Так.

Скупой, бессонный свет ночей  
и боль одна,

и мысль одна.

Пощупай лобик.

Горячей.

Попробуй ручку.

Холодна.

О дни без солнечных лучей  
и тьма без краю и без дна.

Находим тысячу причин,  
мишуя главную беду:

«Не зубки ль трудно так идут?»

Качают головой врачи.

Порой приходит бодрость к нам

Он весел, он смеется сам.

Игрушку с радостью держал,

на две десятых меньше жар.

Врачи безмолвствуют.

Иногда

на миг, в случайной тишине,  
так душно делается мне,  
как будто бы меня горой  
засыпало.

Стучит в виски  
и сводит судорогой бровь.  
Разрежьте сердце на куски!  
По капле выпустите кровь!  
И брали кровь.

Сперва игла  
вонзалась в руку,

а потом

сжимали вену мне жгутом.  
Я не дрожала. Я могла  
забыть не то что боль свою,  
себя, свое желанье жить,  
всю кровь свою, всю жизнь свою  
в сосуды сына перелить.  
Приходят новые врачи,  
находят тысячи причин.

А ты?

А ты!

Забыть нельзя  
твои последние глаза,  
в них ясность, в них прощальный свет.  
Ты лучше знал свою судьбу.  
Лежит испарина на лбу.  
Уже улыбки больше нет.  
А я?

Неправда, я таю  
надежду.

Ею лишь одной  
живу  
и песенки пою.

Ты скоро будешь петь со мной.  
Нет, мы не верим!

Полно, нет.

Каким ты будешь в двадцать лет!  
И вдруг мне сердце на куски,  
я над постелькою твоей  
бессильно понижаю я.  
Ты только глянул на меня  
и вдруг погладил по-мужски  
меня ладошкою своей.

II

Теперь я знаю:  
этот день  
был предпоследним.

Шла домой.

Портреты четырех людей  
высоко плыли над толпой.  
Я торопилась. Я была  
почти без сил, совсем больной.  
Но я внезапно поняла:  
я подожду итти домой.  
Сейчас остаться надо тут,  
со всеми, в шуме, в толкотне.  
Не здесь ли бодрость обрету?  
Не здесь ли легче станет мне?

Знамена, песни, светлый шум.  
Они приедут к четверем,  
они проедут вчетвером,  
и я их силой подышу.

Шел март.

Дождило.

Плыл туман.

Казалось, в городе текла  
простая, будничная жизнь,  
но улыбались этажи  
лицом у каждого стекла.  
Казалось, тут уж вековал  
туман и этот пресный дождь.  
Но сквозь промозглость, сырость, дрожь,  
как летом, город ликовал.

Мне вдруг послышалось:  
сердца  
людей стучат, одно любя.  
Я оглянулась вокруг себя:  
толпа шумела без конца.  
Внезапно захотелось мне  
сказать кому-нибудь:

«Сосед,  
как много я узнала бед  
на этой мартовской земле.  
Ребенок болен у меня,  
частица кровная моя,  
давно, давно не знаю я,  
не помню радостного дня.  
Сыночек мой, уже невмочь  
тебе метаться и страдать.  
Зачем мне жить?  
Зачем я мать,  
когда не в силах я помочь?  
Я ощущаю боль твою.  
Она — моя!

Сосед, сосед:  
я больше горя не таю!  
Неужто мне надежды нет?  
Неужто в случае таком  
не может быть другой исход?»

Сжимает горло душный ком.  
Вокруг меня шумит народ.  
И вот стоим мы под дождем  
и четырех героев ждем.  
Они придут к четверем,  
они придут вчетвером.  
Они войдут во все сердца,  
как гимна нашего мотив,  
и сердце, силы ошутив,  
держаться сможет до конца.

И был величественен шаг  
машин по синей мостовой.  
А впереди,  
        как вестовой,  
как сердце, бился сильный флаг.  
Он над земною головой  
бсрлся с ветром, как живой,  
и отражал холодный лед  
его пылающий полет.  
И вот вернулся он в Москву,  
победы излучая свет.  
Он раньше многим спился.

Нет!

Теперь он плещет наяву.  
Машины шли, как сад в цвету.  
Хотелось мне вослед бежать,  
вглядеться в каждую черту,  
простые лица разгадать.  
Такую черточку найти,  
какая главною была  
и их по трудному пути  
к победе нашей привела.  
Суметь усвоить ту черту  
в борьбе, и в песне, и в быту,  
чтоб так же мужественно жить  
и так же родину любить.

Еще затем бежать вослед,  
затем запомнить и познать,  
чтоб сыну через много лет  
об этом часе рассказать.  
Мой сын!..

Постой, а вдруг ему  
сегодня хуже?

Погоди.

Нет, я не верю никому!  
Нет, мы его не отдадим!  
Я вспоминаю злую ночь,  
тревогу кратких телеграмм.  
Ведь если им могли помочь,  
ужели не помогут нам?  
Помогут.

Выйдем.

Победим.

Тебя, сынок, не отдадим.  
В себе я крепко чую ту  
непобедимую черту,  
которой в этот тусклый день  
сияет четверо людей.

А дома ждали у дверей  
тревожным словом:

«Поскорей!»

12

Нет,

я не верю никому,  
ни им, ни взгляду твоему,  
ведь он еще вчера глядел,  
ведь горю тоже есть предел.  
Не может столько сразу лечь  
на двух людей, на нас двоих.

И гору горестей таких  
уже не просто сбросить с плеч.  
Она уже не на плечах,  
а где-то глубже.

Подожди!

Уже не снег, уже дожди,  
рассветы в солнечных лучах.  
Тепло и солнце впереди  
для маленькой твоей групп.  
Еще, еще, сынок, держись  
за руку матери, за жизнь.  
А мы тебя не отдадим!  
Нет, я не верю никому,  
ни им, ни взгляду твоему.  
В комочек съежилась: не плачь.  
Я сразу поняла, когда  
прошел по коридору врач,  
стараясь не глядеть туда,  
где я сидела.

И отец

припал к дверному косяку.  
С размаху сердце рассеку,  
как будто топором.

Конец.

13

Ты на рассвете был рожден,  
чтоб утром солнечным расти.  
Зачем под мартовским дождем  
твой легкий гробик нам нести?  
Денек весенний, голубой,  
зачем растаял ты?

А я?

Не надышалась я тобой,  
не нагладелась на тебя.

Вся жизнь твоя — короткий миг,  
внезапный сполох лучевой.  
Ты только злую боль постиг,  
страданье,

больше ничего.

Уже ничем помочь нельзя,  
и ничего нельзя спасти.

По плитам каменным скользя,  
свою безвыходность нести.

И где набраться силы, чтоб  
итти, не помня ни о чем?

Тяжел и страшен легкий гроб,  
обшитый красным кумачом.

А мы тебе хотели сшить  
пальтишко красное к весне.

Скажите, как мне дальше жить?

Идет холодный долгий снег,

14

А нужно было дальше жить,  
вставать,

ложиться,

есть,

и пить,

и улыбаться.

Только ртом.

ничуть не сердцем.

Отвечать

на все вопросы.

А потом,

одной оставшись,

закричать.

На миг забудемся,

но вдруг

оглянемся по сторонам.

Мой верный друг, мой добрый друг,  
кто может знать, как тяжело нам!

О, как познала я сейчас,  
какая боль таится в том,  
чтоб каждый миг и каждый час  
душою помнить об одном.

Глядят, как мыши из норы,  
его игрушки из угла.  
Я жить могла до той поры,  
пока бороться я могла.  
По гололедице спеша,  
возить седых профессоров,  
одной надеждою дыша,  
что будет он опять здоров.

За что бороться мне теперь,  
в какую мне толкнуться дверь?  
В какой судьбе, в каком пути  
свое пристанище найти?  
Куда теперь я ни пойду,  
я то же самое найду.  
Так будет каждую весну,  
зимой и летом.

Я усну,  
забудусь наконец.  
Проснусь,  
на то же самое наткнусь.

Есть два исхода впереди —  
и первый: губы закусить,  
жить с этой тяжестью в груди,  
второй исход — совсем не жить.

Но, сердце, ты не подведешь,  
тебя во лжи не уличу.  
Через страданье, боль и дрожь  
ты хочешь жить!

Я жить хочу!

Я этот мир больших забот,  
больших сражений и труда,  
в котором мужество растет,  
и каждый шаг ведет вперед,  
сама не брошу никогда!  
А если жить, то жить, любя  
не это горе, не себя,  
а пыль и ветер всех дорог,  
суровый гомон всех тревог,  
и небо в солнце и в грозе,  
и всех проверенных друзей.  
Дышать бы радостями их,  
быть очень нужной в их кругу.  
Проверь же крепость сил своих.  
Подумай, сможешь ли.

«Смогу».

Так, стиснув зубы, боль таи,  
как меч, упрятанный в ножны.  
Еще на многое нужны  
все силы лучшие твои.

Ты молча радио включил.  
Из Вены Гитлер говорил.  
Как смел он допереть до нас,  
тот черный голос?

У земли,  
на брюхе, крадучись, в пыли,  
он полз, как ядовитый газ,  
из тех краев, где ночь долга,  
где вместо неба на людей  
глядит подошва сапога,  
мерцая шляпками гвоздей.

Как пахнет в воздухе борьбой,  
весенним запахом ее.

Пути открыты пред тобой,  
и мерно сердце бьет твое.

И дым,  
и солнце,

и вода,

и ласточки на проводах.

И воздух голубого дня  
шумит, как море, вокруг меня.

Не уставай,

плыви,

пловец!

Еще далеко твой причал!

Да, в жизни есть один конец,  
но в жизни несколько начал.

Меня борьба вперед влечет,  
пока по жилам кровь течет,  
пока я двигаюсь,

пока

еще я смею быть живой,

пока сильна моя рука.

Еще сиять над головой

студеному лучу штыка.

Прощальный свет в глазах твоих

уже оплачет не слеза.

Отныне зорки за двоих

мои окрепшие глаза.

В тебе я видела бойца,

и для тебя, и за тобой

была готова выйти в бой,

чтобы сражаться до конца.

Прости, мой маленький, прости,

отныне, сын, меня вперед,

на бой, в последний наш поход  
еще одной заре вести.  
Решится спор, придет конец.  
Он будет лучшим из начал.  
Не уставай, греби, гребец!  
Еще далеко твой причал.

И коммунизм совсем не в том,  
чтобы сердца разоружить.  
И коммунизм — не теплый дом,  
в котором можно тихо жить,  
не зная горя и тревог  
и не ступая за порог.

Нет!

Из разрозненных частей  
единый встанет мир, а в нем  
шуметь цветению страстей  
и чувствам полыхать огнем.

Стоит горячая страда,  
порывы ветра рвут листву.  
Иди!

Сражайся!  
Торжествуй!  
Ликуй!

Надейся!

И страдай!  
Не так-то просто путь пройти,  
дойти и голову сложить  
Но если ты уже в пути,  
мужайся!  
Это значит жить.

*Ирпень, май 1938*



П О Б Е Д И Т Е Л И

1911—1943

## РУССКАЯ ПЕСНЯ

Величавым руслом прямо в Волгу  
шла другая русская река.  
Над ее просторами подолгу  
северные стыли облака.

Путь многовековой совершая,  
на ладонях синих сильных вод  
бережно несла река большая  
белый пассажирский пароход.

А на пароходе плыли люди,  
что оставили жену и мать,  
для того чтоб выйти в бой и грудью  
за родную реку постоять.

Тихим вечером они запели  
в лад неторопящейся реке,  
не спеша,

что знали,

как умели.

на спокойном русском языке.

И о чем таком в той песне пелась,  
рассказать, пожалуй, и нельзя.  
Понимать ту песню не хотелось.  
Слушали ее, закрыв глаза.

Как в реке навеки отражалась  
сторона родная, дом и дым,  
так и эта песня начиналась  
и кончалась близким и родным.

Было в ней великое значенье:  
черный враг вовек не повернет  
русских рек могучее течение,  
русских песен соколиный взлет.

Наступила грозная година,  
только наших сил врагам не счесть.  
И, соединившись воедино,  
наша гордость, благородство,  
честь,  
музыка, поэзия, природа,  
все, чем нам отчизна дорога,  
в доброй воле русского народа  
двигалось рекою на врага.

Август 1941

## Б О Й Ц У

Как бы ни была родина велика,  
помни, где ты родился и рос,  
как текла, извиваясь, родная река  
мимо ласковых тихих берез.

Вспомни русскую песню какую-нибудь,  
ту, что пели и бабка и мать,  
от которой теплом наполняется грудь  
и становится легче дышать.

Вспомни дом, что окошками зорко глядел  
на поля, на луга, на сады,  
где состарилась мать, где отец поседел,  
подростающим сном горды.

Неужели тебе на скамью не присесть  
у порога в отцовский дом?  
Понимаешь, ведь это как раз и есть  
то, что родиной мы зовем.

Вспомни школьное старенькое крыльцо,  
стайку шумных ребят у дверей  
и какое спокойное было лицо  
у учительницы твоей.

Вспомни низкую парту, и доску, и класс,  
все, что было услышано тут.  
Понимаешь, ведь это и есть как раз  
то, что родиною зовут.

Вспомни лавочку ту, вспомни рожицу ту,  
где впервые ты милую ждал.  
Загорелую, в ситцевом платье мечту  
в первый раз ты тогда целовал.

Неужели волос ее, губ и глаз  
ты на свете уже не найдешь?  
Понимаешь, ведь это и есть как раз  
то, что родиной ты зовешь.

А врагу твоему это все нипочем.  
Ненавидит он счастье твое.  
Если родину ты не закроешь плечом,  
он сожжет и растопчет ее.

Ты лишишься родимого крова навек,  
не найдешь ни родных, ни друзей.  
Потерявший родину человек —  
ничего нет на свете страшней.

Пусть ни разу не дрогнет твоя рука,  
и да будет дорога твоя легка,  
человек, осененный лучом штыка,  
вспомни все, что навеки любимо тобой,  
перед тем как выходишь на бой.

Ноябрь 1941

## К Р О В Ъ

Товарищ,

я тебя не знаю,  
но в этот незабвенный час,  
любовь и боль соединяя,  
большая дружба свяжет нас.

Под общим солнцем,  
общим небом  
росли и крепили мы с тобой,  
вскормленные советским хлебом,  
родной вспоенные водой.

Года над нами прошумели,  
и вот мы дожили до дня,  
когда, стянув ремни шинели,  
ты вышел защищать меня,

мой мир, мой дом, мою работу,  
мои надежды и мечты.  
Моим врагам платить по счету,  
разгневанный, поднялся ты.

Я сердцем знала, сердцем знала  
судьбу достойную твою.  
Я стон твой тяжкий услышала,  
когда ты ранен был в бью.

Свалился ты, изнемогая.  
Вокруг тебя гудела ночь.  
А я пути к тебе не знаю  
и не могу тебе помочь.

Тебя к палатке лазарета  
мне на руках не донести.  
Родной мой, я не знаю, где ты,  
и не могу тебя спасти.

Но, вдохновленная любовью,  
высоким подвигом твоим,  
я поделюсь с тобою кровью,  
моим богатством молодым.

Пушкой в твои вольются жилы,  
чтоб делу нашему служить,  
мои тревоги, чувства, силы,  
мое желанье вечно жить.

И вместе с возвращеньем к жизни  
я передать тебе смогу  
всю преданность мою отчизне,  
всю ненависть мою к врагу.

Вернешься ты на поле чести,  
пойдешь героем в новый бой.  
И будем мы сражаться вместе, —  
ведь кровь моя пойдет с собой.

Июнь 1941

## ЛЕТЧИКИ

Неуклюжих машин создатель,  
зачинатель великих идей,  
как он думал, далекий мечтатель,  
о породе крылатых людей?

Мастерящий тяжелые крылья,  
если б знал он, смешной фантазер,  
что далекие внуки открыли  
птичью волю таящий мотор,

что в простом сочетании линий  
полированных плоскостей  
серебристый таит алюминий  
легкость плавную птичьих костей.

Если б он увидал смуглолицых,  
побывавших на всех небесах,  
с уголочками неба в петлицах  
и всегда с ветерком в волосах.

Как, врагу ничего не прощая,  
встав за правду, за мир, за людей,  
жизнью, кровью, душой защищая  
каждый камень отчизны своей,

на отчаянный подвиг выходят,  
как на скромный и будничныи труд.  
Если б он услышал, как в народе  
имена их простые живут...

Вдохновенный прилив покоя  
он, наверно бы, вновь ощутил,  
гордый тем, что когда-то такое  
крылья первые он мастерил.

I

Предо мной не мерцал горизонт,  
 обернулась война предо мною  
 не великой дорогой на фронт,  
 не полками, готовыми к бою,  
 и не гибелью в смертном бою,  
 у бессмертья почти на пороге.  
 Нет,

взяла она душу мою  
 и забыла ее на дороге.  
 И над нею составы прошли,  
 не давая ей с места подняться,  
 в едком дыме, в колючей пыли  
 переходов и эвакуаций.  
 И в ночи прогремели над ней,  
 осыпая каменья с откоса,  
 эшелоны кричащих детей,  
 потерявших в пути матерей,  
 сумасшедших теплушек колеса.  
 Санитарные поезда  
 потащили ее по России.  
 Города, города, города...  
 Перелески и роши босые...  
 Как морозы твои горячи!  
 Как дымит твоя синяя вьюга!  
 Стонут раненые в ночи  
 дальним голосом давнего друга.  
 Померещилось ей, что навек  
 этот путь без конца и начала.  
 И, забыв, что она — человек,  
 словно птица, душа закричала.  
 Для того, чтоб услышать в ответ  
 в свисте этого вьюжного рейса:

«Это тыл.

Здесь опасности нет.

Здесь погибнуть в бою не надейся  
Доживешь.

Доберешься.

Должна.

Как бы ты умереть ни хотела».

Чтоб, устав, обессилев, она  
с той подножки в сугроб полетела.  
Поднялась,

огляделась,

пшла,

поползла по кровавому следу

и в себе еще силу нашла

и сказала:

«Я верю в победу»:

## II

Речку звали, как ребенка, — Воря.

Как она была неглубока!

Никакого там большого моря

даже знать не знала та река.

Но она дала нам столько счастья,

что, когда подумаю о нем,

что-то рвется медленно на части

в сердце притомившемся моем.

Разве можно было счастьем верить,

милый мой, нелепый человек?

Разве можно было счастье мерить

глубиною подмосковных рек?

Стало быть, и можно было, если,

в суматохе выходок твоих,

на любовь, на музыку, на песни

нам его хватало на двоих.



Только петь и плакать я не буду.  
В городе живем мы, не в лесу.

Ничего как есть не позабуду.  
Все, что знаю, в сердце пронесу.

Спрашивает снежная, сквозная,  
светлая казанская зима:

— Как ты будешь жить?

— Сама не знаю.

— Выживешь?

— Не знаю и сама.

— Как же ты не умерла от пули?

— От конца уже невдалеке  
я осталась жить.

Не потому ли,  
что в далеком камском городке,  
там, где полночи светлы от снега,  
где лихой мороз берет свое,  
начинает говорить и бегать  
счастье и бессмертие мое.

— Как же ты не умерла от пули,  
выдержала огненный свинец?

— Я осталась жить.

Не потому ли,  
что, когда увидела конец,  
частыми, горячими словами  
сердце мне успело подсказать,  
что смогу когда-нибудь стихами  
о таком страданьи написать.

— Как же ты не умерла от пули?

Как тебя удар не подкосил?

— Я осталась жить.

Не потому ли,

что, когда совсем не стало сил,  
увидала  
с дальних полустанков.  
из забитых снегом тупиков:  
за горами  
движущихся танков,  
за лесами  
вскинутых штыков  
занялся,  
забрёзил  
день победы,  
землю осенил своим крылом.

Сквозь свои  
и сквозь чужие беды  
в этот день пошла я напролом.

Декабрь 1941

## КАЛУГА

Затоптав орудийную вьюгу  
и последние вспышки огня,  
наши части входили в Калугу  
на рассвете морозного дня.

Голубое, как детский гостинец,  
люди небо увидели вдруг.  
Шел в строю молодой пехотинец  
и глядел изумленно вокруг.

Он глядел, точно видел впервые, —  
вот какие они, земляки.  
Зипуны, кацавейки худые,  
постаревшие бабы платки.

Вот он весь в оживленьи, в тревоге,  
на задымленном, сбитом снегу,  
дорогой городок у дороги,  
не отдавшийся в руки врагу:

Все родное, свое, человечье,  
защищенное сердцем твоим...

...Он расправил взволнованно плечи,  
гордый тем, что остался живым.

Захлебнулся нахлынувшим жаром,  
вдруг почувствовал юность свою,  
гордый тем, что недаром, недаром  
побывал в своем первом бою;

что прошел, головы не склоняя,  
не зажмурив мальчишеских глаз,  
слышал, как, огневая, стальная,  
смерть над ним пролетала не раз,

увидел гибель хорошего друга,  
золотого дружка своего,  
для того чтоб такая Калуга  
на рассвете встречала его;

чтоб она, розовая спросонок,  
улыбалась ему сквозь мороз,  
как усталый, притихший ребенок  
после горькой обиды и слез.

Январь 1942

## ЧУЖОЕ ГОРЕ

Ранние сумерки.

Шаркая глухо,  
тенью под стенкой проходит старуха,  
плещется в ведрах живая вода.  
В этом селе побывала беда.

Как ворвалась она?

Днем или ночью?  
Кралась ползком или шла напролом?  
Хочешь увидеть ее воочию?  
Вот она замерла там, за углом.

Ранние сумерки тусклы и хмуры.  
Как на ветру не устанут стоять  
две человеческие фигуры,  
женщина с девочкой,

дочка и мать?

Как их настигла случайная поза  
и почему они замерли в ней,  
словно изваянные из мороза,  
на перекрестке печали своей?

Что там стряслось?

Погорела ли хата,  
или добро растащили враги?  
Мужа убили, замучили брата?  
Старшая, мать, подсажи, помоги.

Что ж ты молчишь?

Или вправду не надо  
словом тревожить застывшую тишь?  
Возле поваленного палисада  
стой, как стоишь,

и молчи, как молчишь,  
ветру лицо подставляя рябое,  
край полушубка в руках теребя.



## МУЗЫКА

Я в комнате той,  
на диване промятом,  
где пахнет мастикой и кленом сухим,  
наполненной музыкой и закатом,  
движеньями,  
голосом,  
шумом твоим.

Я в комнате той,  
где смущенно и чинно  
стоит у стены, прижимается к ней  
чужое разыгранное пианино,  
как маленький памятник жизни твоей.  
Всей жизни твоей.

До чего же не много!  
Неистовый,  
жадный,  
земной,  
молодой,  
ты засветло вышел.

Лежала дорога  
по вольному полю,  
над ясной водой.

Все музыкой было —  
взвивался ли ветер,  
плескалась ли рыба,  
текла ли вода,  
и счастье играло в рожок на рассвете,  
и в бубен безжалостный била беда.  
И сердце твое грохотало, любило,  
и в солнечном дождике смеха и слез  
все музыкой было, все музыкой было,  
все пело, гремело, летело, рвалось.

И ты,  
как присягу,  
влюбленно и честно,  
почти без дыхания слушал ее.  
В победное медное сердце оркестра  
как верило бедное сердце твое!

На миг очутиться бы рядом с тобою,  
чтоб всей своей силою, нежностью всей  
понять и услышать симфонию боя,  
последнюю музыку жизни твоей.

Симфония боя меж правдой и ложью,  
войны до победы,

борьбы до конца.

Мой милый, какой вдохновенною дрожью,  
услышав ее, задрожали сердца.

Она загремела,

святая и злая,

и не было звуков над миром грозней.

И, музыки чище и проще не зная,

ты,

раненный в сердце,

склонился пред ней.

Навеки.

И вот уже больше не будет  
ни славы,

ни бед,

ни обид,

ни молвы,

и ласка моя никогда не остудит  
горячей, бедовой твоей головы.

Навеки.

Мои опускаются руки.

Мои одинокие руки лежат...



## ВЕСНА В ЛЕНИНГРАДЕ

### I

Нева замерзала тогда,  
когда немцы пошли в наступленье,  
и всю зиму стонала вода  
под немыслимой тяжестью льда,  
в слепоте, глухоте и томленьи.

«Как там город любимый живет?» —  
тосковала вода и не знала,  
устоял ли,

дожил ли...

И вот  
под напором разгневанных вод  
проломился измученный лед,  
И Нева Ленинград увидала.

Ленинград, Ленинград, Ленинград!  
Да прославится хлеб его черствый,  
и безмолвье ослепших громад,  
и дыханье крутых баррикад,  
и людей непрощающий взгляд,  
и сердец возмужавших упорство.

Все, как прежде:

мосты над Невой  
тетивою, натянутой туго,  
и у штаба боец-часовой,  
и балтиец бушлат боевой,  
и шальная весенняя вьюга.  
И опять отразился в воде,  
на высоком ветру не сгорая,  
тот костер, разожженный везде,  
опаленных в борьбе и в гряде,  
знаменитых знамен Первомай.

Будь спокойна, родная вола!  
Не падет ленинградская слава.  
Мы стоим, как стояли всегда.  
И Нева покатила тогда  
широко, как в былые года,  
успокоенно и величаво.

## II

В течение этой медленной зимы,  
круша ее железные потемки,  
«Мы не уступим. Каменные мы», —  
ты говорила голосом негромким.  
Все уже ядовитое кольцо,  
Враг продолжает дальше продвигаться.  
И вот в его угрюмое лицо  
взглянули, как солдаты, ленинградцы.

О город без огня и без воды!  
Сто двадцать пять блокадных граммов хлеба.  
Звериное урчание беды  
с безжалостного, мертвенного неба.  
Стонали камни,

ахали торцы,  
но люди жили, находили силы,  
а те, что погибали,  
как бойцы,  
ложились тесно в братские могилы.

И, наконец, изнемогла зима,  
открылись заволоченные дали.  
Чернеют разбомбленные дома,  
они мертвы, они не устояли.  
А мы с тобой выходим на мосты,  
и под крылом торжественного мая  
волнуешься и радуешься ты,  
причины до конца не понимая.  
А мы с тобой на облачко глядим,

и ветер нам глаза и губы студит.  
А мы с тобой негромко говорим  
о том, что было, и о том, что будет.  
Мы вырвались из этой длинной тьмы,  
прошли через заслоны огневые.  
Ты говорила: «Каменные мы».  
Нет,  
мы сильнее камня,  
мы — живые.

### III

Там, где Нева в седой гранит одета, —  
стоят угрюмо, вод не шевеля,  
подобные двум песням недопетым,  
два недостроенных военных корабля.

Умслк металл, и замерла работа,  
но в неподвижных контурах живет  
изогнутая линия полета,  
крылатое стремление вперед.

Стальную грудь, стремящуюся к морю,  
неумолимый сдерживает трос,  
и на закате не играет зорю  
от ветра отвернувшийся матрос.

И по ветрам тоскующие снасти,  
и борт, томящийся по глубине,  
все наше недостроенное счастье  
пронзительно напоминают мне.

А по весенней набережной мимо  
балтийские проходят моряки,  
вдыхают запах дегтя, моря, дыма,  
упрямые сжимают кулаки.

Их никакой тоске не успокоить,  
им ни в каком пожаре не сгореть.  
Они хотят все корабли достроить,  
все песни недопетые допеть.

Им можно нанести любые раны,  
но их нельзя согнуть и победить.  
Переживем и бури и туманы,  
и жизнь вернется, и взметнутся краны,  
и наше счастье выйдет в океаны,  
взяв курс на запад.

Так тому и быть.

#### IV

Вот опять обстрел артиллерийский.  
Это где стреляют, милый друг?  
Рвущийся, однообразно-близкий,  
в облака укутавшийся звук.

Но не свист летящего металла  
вслед за ним,  
не грома мертвых тел...  
Что-то вдруг светло затрепетало, —  
теплый дождь на город налетел.

И его беспечная прохлада  
так щедрa и сладостна была.  
опаленный камень Ленинграда  
свежестью забытой обдала.

И смущенно признавались люди,  
утерев невольную слезу,  
что за грохот вражеских орудий  
приняли весеннюю грозу.

Дождик льет, а мы с тобою дома.  
Чай заварен, — вот и славно нам.  
Писзабытый мирный грохот грома...  
Молзлочки капель по камням...

Можно камень раздробить на части,  
раскрошить железо и свинец,  
но нельзя украсть минуту счастья  
у людских выносливых сердец.

Мир, глотнувший копоти и дыма,  
над твоею злобой и добром  
непреклонно и неотвратимо  
катится весенний первый гром.

*Ленинград, апрель — май 1942*

## РОССИЯ

*А ты все та же—лес, да поле,  
Да плат узорный до бровей.*

*А. Б л о к.*

Ты все та же, что пелась в былинах,  
та же хватка, осанка и мощь,  
в русых плёсах, в оранжевых глинах,  
в трепетаньи березовых рощ.

Красным солнцем пронзенные дымы,  
словно жаркие лисьи хвосты.  
И плывут лебединые зимы,  
Это все, неизменная, ты.

Притворяться и лгать не умея,  
молодая хозяйка в дому,  
с каждым днем ты смелей и прямее.  
На поклон не пойдешь ни к кому.

И становятся зримей и шире  
обновленного сердца черты.  
Ото всех отличимая в мире,  
это ты, неизменная, ты.

В бабьем стане ли, в девичьем пеньи,  
горькой боли своей не тая,  
подымалась в могучем терпеньи  
возрожденная сила твоя.

Выла ль волком, свистела ль по-птичьи,  
утирала ли слезы рукой,—  
сохраняла красу и величье  
и какой-то последний покой.

Будто знала: и горе и муки  
можно вынести, длинно дыша.

Все осият рабочие руки,  
победит молодая душа.

Как на труд, подымалась ты к бою,  
чуя верную силу в руке.  
И на вольном ветру над тобою  
билась русская кровь на древке.

И пред этой негаснущей кровью,  
как в степи перед летней грозой,  
преклонила ты голову вдовью,  
материнской сверкнула слезой.

И встречая нашествие вражье,  
в каждом жесте, душе дорогом,  
в жарком поле, над волнами пряжи,  
в рукопашном бою и на страже, —  
ты все та же, Россия, все та же,  
победительница над врагом.

*Дер. Градобить, декабрь 1942*

## ХОЗЯЙКА

Отклонились мы маленько.  
Путь-дороги не видать.  
Деревенька Лутовенька, —  
до войны рукой подать.

Высоки леса Валдая,  
по колено крепкий снег.  
Нас хозяйка молодая  
приютила на ночлег.

Занялась своей работой,  
самовар внесла большой,  
с напускною неохотой  
и открытою душой.

Вот ее обитель в мире:  
невеселый тусклый быт.  
— Сколько деток-то?

— Четыре.

— А хозяин где?

— Убит.

Молвила и замолчала,  
и, не опуская глаз,  
колыбельку покачала,  
села прямо против нас.

Говорила ясность взгляда,  
проникавшего до дна:  
этой — жалости не надо,  
эта — справится одна.

Гордо голову носила,  
плавно двигалась она  
и ни разу не спросила,  
скоро ль кончится война.

Не охоча к пустословью,  
не роняя лишних фраз,  
может, где-то, бабьей кровью,  
знала это лучше нас.

Знала тем спокойным знаньем,  
что навек хранит народ, —  
вслед за горем и страданьем  
облегчение придет.

Чтобы не было иначе,  
кровью плачено большой.  
И она живет, не плачет,  
устоявшая душой.

И она стоит, не хочет  
пасть под натиском беды.  
Мы легли, она хлопочет, —  
звон посуды, плеск воды.

Вот и вымыта посуда.  
Гасит лампочку она.  
А рукой подать отсюда —  
продолжается война.

Пусть же будет трижды свято  
знамя гнева твоего,  
родина — вдова солдата  
мать народа моего.

*Сев. Зап. фронт, январь 1943*

## Я С Н Ы Й Д Е Н Е К

Сегодня день такой, что впору  
про все невзгоды позабыть.  
Кагить с ребятами под гору, —  
да где салазки раздобыть?

Как веселятся нынче дети,  
собаки мчатся им вослед.  
Как будто нет войны на свете!  
А может быть, и вправду нет?

С беспечным озорством ребенка,  
за легкой дымкою берез,  
кричит взволнованно и звонко  
веселый мирный паровоз.

Как будто можно в миг собраться,  
отдать проводнику билет,  
на полку верхнюю забраться,  
как будто бы войны и нет.

И как развязка в сказке доброй,  
тайник сокровищ и чудес,  
снежнобородый, медноребрый,  
стоит, как терем, старый лес.

Подвески, искорки и блески  
снега кругом подожжены.  
Как будто мы еще подростки,  
есть праздники и нет войны.

Как будто завтра выходные  
и можно в школу не идти...  
Приветливые, как родные,  
все, кто встречается в пути.

Знакомый почерк на конверте.  
Письмо от милой в добрый час.  
Живем!

О смерти и бессмертии  
никто не думает у нас.

Землянка. Часовой у входа.  
Майор глядит из-под руки:  
«Какая лётная погода!  
Счастливым путь, штурмовики!»

*Сев. Зап. фронт, январь 1943*

## НАСТУПЛЕНИЕ

Когда, соединясь в одном ударе,  
из города мы выгоняли их,  
он был одним из пераых, этот парень,  
не очень-то отличный от других.  
Он задышался, он кричал, влекомый  
на всем пространстве трудного пути  
одним порывом: в город незнакомый  
в рядах освободителей войти.

Ворвались в школу. Тут был штаб немецкий.  
Столы раскрыты, папки, ключья карт...  
А этот парень вдруг уснул по-детски,  
в холодном классе, на обломках парт.

Уже гудели звуковые волны,  
и диктор, стоя где-то возле нас,  
волнения бесхитростного полный,  
в который раз читал «В последний час».

И в южный город, взятый на рассвете,  
железным ветром Ильменя дыша,  
другой парнишка на своем планшете  
уже писал письмо при слабом свете,  
грызя тупой конец карандаша.

И лампочка коптила, догорая,  
и забывались нужные слова...

Как пишут письма?

«Мама! Дорогая!

Мне только бы узнать, что ты жива!»

Успел ли он сложить свои тетрадки?  
Прошла команда, и поднялся взвод.  
В ночном бою, в короткой жаркой схватке,  
парнишка с юга, торопясь вперед,  
ворвался в пункт, не названный на карте,  
в селение на северной реке,  
где вырос тот, который спит на карте  
в освобожденном южном городке.

## О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

И только лишь забрезжило, с разлета,  
еще не дав опомниться врагу,  
ворвалась в Ржев советская пехота,  
переводя дыханье на бегу.

И, как хозяин, очутившись дома,  
найдет ступеньку в сумраке ночном,  
бежали люди к зданию горкома,  
без промаха почуяв этот дом.  
Откуда толбко тот парнишка взялся,  
который, сбросив наземь свой тулуп,  
вдоль снежных стен, обледенелых труб,  
по узкому карнизу пробирался?  
Кто дал ему приказ?

И вот над нами,  
багряное на небе голубом,  
захлопало, заколотилось знамя  
освобожденным радостным крылом.  
И вот тогда, неведомо откуда,  
законных предпосылок лишена,  
невидимая, чистая, как чудо,  
пошла, пошла на город тишина.  
И даже наши хлопцы присмирели,  
как чей-то сон, оберегая тишь.  
И вдруг неторопливые капли  
закапали с весенних темных крыш.  
Как будто человек, лишенный вольной воли,  
ни в чем невинный, свой великий гнев,  
тоску и муку прятал поневоле,  
на долгие года оцепенев.  
И, вырвавшись из каменного мрака,  
у входа в мир, как в детстве, голубой,  
застыл на миг,

и дрогнул,  
и заплакал,  
свободу увидав перед собой.

## ПОБЕДИТЕЛЬ

Вот работка выпала саперу!  
Рой землянку знатную, пока  
не придется притолока впору  
командиру нашего полка.

Как он встанет в огневом тулупе,  
как он дверь толкнет крутым плечом,  
станет ясно: этот не уступит,  
не продаст, не выдаст нипочем.

Нет, такие люди не забыли,  
как дошли до ильменского льда.  
Отступили да не уступили.  
Да и не уступят никогда.

Немцы скажут: «Сдали». — плюнь в глаза им.  
Скоро потолкуем! Час пробьет!  
Вот стоит рачительный хозяин.  
Вот он твердо двинулся вперед.

Видели, какой хмельною влагой,  
темным, сокрушительным огнем,  
молодой веселою отвагой  
ненависть к врагу вскипает в нем.

Видели, какую нежной силой  
светится, горит его лицо  
в час, когда своей далекой милой  
пишет он в землянке письмецо.

Гимнастерка делается узкой,  
будто бы меха под ней, огонь,  
если знаменитой песней русской  
командир залѣтся под гармонь

Ни недостатка у него, ни славы,  
только вся родимая земля:  
лес под Оршей, вишенья Полтавы,  
Киева седые тополя.

Ничего он даром не загубит,  
каждому кусточку знает счет,  
все, чему он верит, все, что любит,  
он любой ценой себе вернет.

Верится в победу, в праздник мира,  
хоть туда дорога далека,  
стоит лишь взглянуть на командира  
нашего пехотного полка.

*Сев. Зап. фронт, январь — февраль 1943*

30 Я

(Поэма)

*В первых числах декабря 1941 года, в селе Петрищеве, близ города Верей, немцы казнили восемнадцатилетнюю комсомолку, назвавшую себя Татьяной. Она оказалась московской школьницей Зоей Космодемьянской.*

(Из газет)

### Вступление

Я так приступаю к решению задачи,  
как будто конца и ответа не знаю.  
Протертые окна бревенчатой дачи  
раскрыты навстречу московскому маю.

Солнце лежит на высоком крылечке,  
девочка с книгой сидит на пороге.

«На речке, на речке,  
на том бережечке,  
мыла Марусенька белые ноги...»

И насквозь пронизана песенка эта  
журчанием речки и смехом Маруси,  
окрашена небом и солнцем прогрета...:

«Плыли к Марусеньке  
серые гуси...»

Отбросила книгу, вокруг поглядела.  
Над медными соснами солнце в зените...:  
Откинула голову, песню допела:

«Вы, гуси, летите,  
воды не смутите...»

Бывают на свете такие мгновенья,  
такое мерцание солнечных пятен,  
когда до конца исчезают сомненья  
и кажется: мир абсолютно понятен.  
И жизнь твоя будет отныне прекрасна  
и это навек, и не будет иначе.  
Все в мире устроено прочно и ясно  
для счастья, для радости, для удачи.

Особенно это бывает в начале  
дороги,

когда тебе лет еще мало  
и если и были какие печали,  
то грозного горя еще не бывало.  
Все в мире открыто глазам человека.  
Он гордо стоит у высокого входа.

...Почти середина двадцатого века.  
Весна девятьсот сорок первого года.

Она начиналась экзаменом школьным,  
трезогой неясною и дорогою,  
манила на волю мячом волейбольным,  
игрою реки, тополиной пургою.

Московские неповторимые весны.  
Лесное дыхание хвои и влаги.

...Район Тимирязевки, медные сосны,  
белья на веревках веселые флаги.

Как мудро, что люди не знают заранее  
того, что стоит неуклонно пред ними.

— Как звать тебя, девочка?

— Зоей.

— А Таня?

Да, есть и такое хорошее имя.

Ну, что же, поскольку в моей это власти  
тебя отыскать в этой солнечной даче,  
мне хочется верить, что ждет тебя счастье,  
и я не желаю, чтоб было иначе.  
В сияющей рамке зеленого зноя,  
на цыпочки приподымаясь немножко,  
выходит семнадцатилетняя Зоя,  
московская школьница-длинноножка.

### *1-я глава*

Жизнь была скудна п небогата.  
Дети подрастали без отца.  
Маленькая мамина зарплата, —  
месяц не дотянешь до конца.

Так-то это так,  
а на поверку  
не скучали.

Вспомни хоть сейчас,  
как купила мама этажерку,  
сколько было радости у нас.  
Столик переставь, кровати двигай,  
шума и силенок не жалей.  
Этажерка краше с каждой книгой,  
с каждым переплетом веселей.  
Скуки давешней, как не бывало.  
Стало быть, и вывод будет прост:  
человеку нужно очень мало,  
чтобы счастье встало в полный рост.

Девочка, а что такое счастье?  
Разве разобрались мы с тобой?  
Может, это значит — двери настежь,  
в ветер окунуться с головой?  
Чтобы хвойный мир колот на ощупь  
и горчил на вкус

и чтобы ты

в небо поднялась;  
— чего уж проще,  
а потом спустилась с высоты.  
Чтоб перед тобой вилась дорога,  
ни конца, ни краю не видеть.  
Нам для счастья нужно очень много,  
Столько, что и в сказке не сказать.

Если в сказке не сказать, так скажет  
золотая песня, верный стих.  
Пусть мечта земной тропинкой ляжет  
у чиненных туфельек твоих.  
Все, за что товарищи боролись,  
все, что увидеть Ильич хотел..  
Чтоб уже не только через полюс,  
вкруг планеты Чкалов пролетел.  
Чтобы меньше уставала мама  
за проверкой письменных работ.  
Чтоб у гор Сиерра-Гвадарاما  
победил неистовый народ.  
Чтоб вокруг сливались воедино  
вести из газет, мечты и сны.  
И чтобы папанинская льдина  
доплыла отважно до весны.

Стала жизнь богатой и веселой,  
ручейком прозрачным потекла.  
Окнами на юг стояла школа,  
вся из света, смеха и стекла.

Места много, мир еще не тесен.  
Вечностью сдается каждый миг.  
С каждым днем ты знаешь больше песен,  
с каждым днем читаешь больше книг.  
Девочка, ты все чему-то рада,  
все взволнованней, чем день назад.  
Ты еще не знаешь Ленинграда!  
Есть еще на свете Ленинград!

Горячась, не уступая, споря,  
милая моя, расти скорей.  
Ты еще не видывала моря,  
а у нас в Союзе сто морей.

Бегай по земле, не знай покоя,  
все спеша увидеть и понять.  
Ты еще не знаешь, что такое  
самого любимого обнять.

Дверь толкнешь и встанешь у порога.  
Все-то мы с утра чего-то ждем.  
Нам для счастья нужно очень много.  
Маленького счастья не возьмем.  
Горы на пути — своротим гору,  
вычерпаем реки и моря.  
Вырастай такому счастью впору,  
девочка богатая моя.

---

И встал перед ней переполненный мир,  
туманен и солнечен, горек и сладок.  
Из светлых садов, коммунальных квартир,  
насушенных забот, постоянных нехваток  
Из разных поступков и разных людей.  
Он встал перед ней и велел ей пробиться  
сквозь скуку продмаговских очередей,  
сквозь длинную склоку квартирных традиций.  
Он встал перед ней, ничего не тая,  
во всей своей сущности, трезвой и черствой.  
И тут начинается правда твоя,  
твое знаменитое единоборство.

Правда твоя.

Погоди, не спеша.  
Ты глянула вдаль не по-детски сурово,  
когда прозвучало в твоей тиши  
это тяжелое русское слово.

Не снисходящее ни до чего,  
пристрастное и неподкупное право.  
Звучит это слово,

как будто его  
Ильич произносит чуть-чуть картаво:  
И столько в нем сухого огня,  
что мне от него заслониться нечем,  
как будто бы это взглянул на меня  
Дзержинский,  
накинув шинелѣ на плечи.  
И этому слову навеки дано  
быть нашим знаменем и присягой.  
Издали пахнет для нас оно  
печатною краской, газетной бумагой.

Так вот ты какой выбираешь путь.  
А что, если знаешь о нем понаслышке?  
Он тяжкий.

Захочется отдохнуть,  
но нет и не будет тебе передышки.  
Трудна будет доля твоя, трудна.

Когда ты с прикушенною губою  
из школы уходишь домой одна,  
не зная, что я слежу за тобою.  
Или, когда отвернешься вдруг,  
чтобы никто не увидел, глотая  
упрек педагога, насмешку подруг,  
не видя, что я за тобой наблюдаю.  
Я подойду и скажу тебе:

— Что ж,  
устала, измучилась, стала угрюмой.  
А может, уже поняла: не дойдешь.  
Пока еще можно свернуть, полумай.  
Не долго в твои молодые лета  
к другим, не к себе, относиться строже.

Есть прямолинейность и прямота,  
но это совсем не одно и то же.  
Подруги боятся тебя чуть-чуть,  
им неуютно и трудно с тобою.  
Подумай: ты вынесешь этот путь?  
Сумеешь пробиться ценою, любовью?

Но этот настойчивый пристальный свет  
глаз, поставленных чуть-чуть косо.  
Но ты подымаешься мне в ответ,  
и стыдно становится мне вопроса.

И сделалась правда повадкой твоей,  
порывом твоим и движеньем невольным,  
в беседах со взрослыми,  
в играх детей,  
в раздумьях твоих и в кипении школьном.  
Как облачко в небе,  
как след от весла,  
твоя золотистая юность бежала.  
Твоя пионерская правда росла,  
твоя комсомольская правда мужала.  
И шла ты походкой, летящей вперед,  
в тебе приоткрытое тайное завтра,  
и над тобою, как небосвод,  
сияла твоя большевистская правда.

---

И, устав от скучного предмета,  
о своем задумаешься ты.  
...Кончатся зачеты...

Будет лето...  
Сбивчивые пестрые мечты...  
Ты отложишь в сторону тетрадку.  
Пять минут потерпит! Не беда!  
Ну, давай сначала,  
по порядку.

Будет все, как в прошлые года.  
По хозяйству сделать все, что надо,  
и прибраться наскоро в дому,  
убежать в березы палисада,  
в желтую сквозную кутерьму.  
И кусок косою недолгой тени  
в солнечном мельканьи отыскать  
и, руками охватив колени,  
книжку интересную читать.  
Тени листьев, солнечные пятна...  
Голова закружится на миг.  
У тебя составлен аккуратно  
длинный список непрочтенных книг.  
Сколько их!

Народы, судьбы, люди...  
С ними улыбаться и дрожать.  
Быть собой и знать, что с ними будет,  
с ними жить и с ними умирать.  
Сделаться сильнее и богаче:  
с ними ненавидя и любя.  
Комнатка на коммунальной даче  
стала целым миром для тебя.  
Вглядываться в судьбы их и лица,  
видеть им невидимую нить.  
У одних чему-то научиться  
и других чему-то научить.  
Научить чему-то.

Но чему же?  
Прямо в душу каждого взглянуть,  
всех проверить, всем раздать оружие,  
всех построить и отправить в путь.  
Жить судьбою многих в каждом миге,  
быть сильнее придуманных твоих...

Только разве так читают книги?  
Так, пожалуй, люди пишут их.

Может быть.

И ты посмотришь прямо  
странными глазами.

Может быть.

С тайною тревогой спросит мама:  
«Ты решила, кем ты хочешь быть?»  
Кем ты хочешь быть!

И сердце взмывает  
прямо в небо!

Непечатый край  
дел на свете.

Мир тебе откроет  
все свои секреты.

Выбирай!

Есть одно,

заветное,

большое,

как бы только путь к нему открыт!

До краев наполненной душой

обо всем с другими говорить.

Это очень много, понимаешь?

Силой сердца, воли и ума

людям открывать все то, что знаешь

и во что ты веруешь сама.

Заставлять их жить твоей тревогой,

выбирать самой для них пути.

Но откуда, как, какой дорогой

к этому величию притти?

Можно стать учительницей в школе.

Этим ты еще не увлеклась?

Да, но это только класс, не боле.

Это мало, если только класс.

Встать бы так, чтоб слышны стали людям  
сказанные шопотом слова.

Этот путь безжалостен и труден.

Да, но это счастье.

Ты права.

Ты права, родная, это счастье,  
все на свете словом покорить.  
Чтоб в твоей неоспоримой власти  
было с целым миром говорить.  
Чтобы слово музыкой звучало,  
деревом диковинным росло,  
как жестокий шквал, тебя качало,  
как ночной маяк, тебя спасло.  
Чтобы все, чем ты живешь и дышишь,  
ты могла произнести всегда,  
а потом спросила б землю:

«Слышишь?»

И земля в ответ сказала б:

«Да».

Как пилот к родному самолету,  
молчаливый, собранный к полету,  
трезвый и хмелеющий идет,  
так и я иду в свою работу,  
в каждый свой рискованный полет.  
И опять я счастлива, и снова  
песней обернувшееся слово  
от себя самой меня спасет.

(Путник, возвращаясь издалека,  
с трепетом глядит из-под руки,  
так же ли блестят из милых окон  
добрые, родные огоньки.  
И такая в нем дрожит тревога,  
что передохнуть ему нельзя.  
Так и я взглянула от порога  
в долгожданные твои глаза.

Но война кровава и жестока,  
и, вернувшись с дальнего пути,  
можно на земле

ни милых окон,  
ни родного дома не найти.

Но осталась мне моя отвага,  
тех, что не вернутся, голоса  
да еще безгрешная бумага,  
быстролетной песни паруса.)

---

Так и проходили день за днем.  
Жизнь была обычной и похожей.  
Только удивительным огнем  
проступала кровь под тонкой кожей.  
Стал решительнее очерк рта,  
легче и взволнованней походка,  
и круглее сделалась черта  
детского прямого подбородка.  
Только, может, плечи чуть-чуть  
по-ребячьи вздернуты и узки,  
но уже девическая грудь  
мягко подымает ситец блузки.  
И еще непонятая власть  
в глубине зрачков твоих таится.

Как же это должен свет упасть,  
как должны взлететь твои ресницы,  
как должна ты сесть или встать,  
тишины своей не нарушая?  
Только вдруг всплеснет руками мать:  
«Девочка, да ты совсем большая!»

Или, может, в солнечный денек  
на исходе памятного мая,  
ты из дому выбежишь, дружок,  
на бегу на цыпочки вставая,  
и на старом платье твоём  
кружево черемуховой ветки.

«Зоя хорошеет с каждым днем», —  
словом перекинутся соседки.

В школьных коридорах яркий свет.  
Ты пройдешь в широком этом свете.  
Юноша одних с тобою лет  
удивится, вдруг тебя заметив.  
Вздрыгнет, покраснеет, не поймет.  
Сколько лет сидели в классе рядом,  
спорили, не ладили...

И вот  
глянула косым коротким взглядом,  
волосы поправила рукой,  
озаренная какой-то тайной.  
Так когда ж ты сделалась такой,  
новой,

дорогой,  
необычайной?  
Нет, совсем особенной,  
не той,  
что парнишку мучила ночами.  
Не жемчужною кино мечтой,  
не красоткой с жгучими очами.  
— Что ж таится в ней?

— Не знаю я.  
— Что она, красивая?

— Не знаю.  
Но, какая есть, она — моя,  
золотая,  
ясная,  
сквозная. —

И увидит он свою судьбу  
в девичьей летающей походке,  
в прядке, распушившейся на лбу,  
в ямочке на круглом подбородке.

(Счастье, помноженное на страданье,  
в целом своем и дадут, наконец,  
это пронзительное, как рыданье,  
тайное соединенье сердец.

Как началось оно?

Песнею русской?  
Длинной беседой в полуночный час?  
Или таинственной улочкой узкой,  
никому неведомой, кроме нас?  
Хочешь,

Хочешь, давай посмеемся, поплачем!  
Хочешь, давай пошумим,  
помолчим!

Мы — заговорщики.

Сердцем горячим  
я прикоснулась к тебе в ночи.)

---

Вот они — дела!

А как же ты?  
Сердца своего не понимая,  
ты жила.

Кругом цвели цветы,  
наливались нивы силой мая.  
Травы просыпались ото сна,  
все шумнее делалась погода,  
и стояла поздняя весна  
твоего осьмнадцатого года.  
За пронзенной солнцем пеленой  
та весна дымилась пред тобою  
странною, неназванной, иной,  
тайной и заманчивой судьбою.  
Что-то будет!

Скоро ли?

А вдруг!

Тополя цветут по подмосковью,  
и природа светится вокруг  
странным светом,

может быть, любовью.

---

Ну, вот.

Такой я вижу Зою  
в то воскресенье, в полдне том,  
когда военною грозою  
пахнуло в воздухе сухом.  
Теперь, среди военных буден,  
в часок случайной тишины,  
охотно вспоминают люди  
свой самый первый день войны.  
До мелочей припоминая  
свой мир,  
свой дом,

свою Москву,  
усмешкой горькой прикрывая  
свою обиду и тоску.  
Ну, что ж, друзья!

Недолюбили,  
недоработали,

не так,  
как нынче хочется, дожили  
до первых вражеских атак.  
Но разве мы могли б иначе  
на свете жить?

Вины ничьей  
не вижу в том, что мы поплачем,  
бывало, из-за мелочей.  
Мы все-таки всерьез дружили,  
любили, верили всерьез.  
О чем жалеть?

Мы славно жили.  
Как получилось, как пришлось.  
Но сразу,

вихрь,  
толчок,  
минута,  
и, ничего не пощадив,  
на полутоне сорван круто

с трудом налаженный мотив.  
Свинцовым зноем полыхнуло,  
вошло без стука в каждый дом,  
и наши окна зачеркнуло  
чумным безжалостным крестом.  
Крест-накрест синие полосы  
на небо, солнце и березки,  
на наше прошлое легли.  
Чтоб мы перед собой видали  
войной зачеркнутые дали,  
чтоб мы забыться не могли.  
Глаза спросонок открывая,  
когда хлестнет по окнам свет,  
мы встрепемемся, вспоминая,  
что на земле покоя нет.  
Покоя нет и быть не может.  
Окно, как раненая грудь.  
Нехитрый путь доньше прожит.  
Отныне начат новый путь.  
Все в мире стало по-другому.  
Неверен шум, коварна тишь.  
Ты выйдешь вечером из дому,  
вокруг пытливо поглядишь.  
Но даже в этой старой даче,  
в тревожный погруженной мрак,  
все изменилось, все иначе,  
еще никто не знает как.

## *2-я глава*

С девятого класса, с минувшего лета,  
у тебя была книжечка серого цвета.  
Ее ты в отдельном кармане носила  
и в месяц по двадцать копеек вносила.  
Мы жили настолько свободно и вольно,  
не помня о том, что бывает иначе,  
что иногда забывали невольно,

что мы комсомольцы и что это значит.  
Все праздником было веселым и дерзким,  
жило нам на свете светло и просторно.  
Развевалось детство костром пионерским,  
растаяло утренней песенкой горна.

Вы в мирное время успели родиться  
и горьких препятствий не знали вначале,  
но ритмом былых комсомольских традиций  
сердца возмужавшие застучали.

И в знойные ночи военного лета  
вы всей своей кровью почували это.  
Еще тебе игр недоигранных жалко,  
и книг непрочитанных жаль, и еще ты  
припрядешь — авось пригодится, —

шпаргалку.

А вдруг еще будут какие зачеты.  
Еще вспоминаешь в тоске неминуемой  
любимых товарищей, старую парту...  
Ты все это помнишь и любишь? Тем лучше.  
Все это поставлено нынче на карту.  
Настала пора, и теперь мы в ответе  
за каждый свой взнос в комсомольском билете.  
И родина нынче с нас спрашивать в праве  
за каждую буковку в нашем уставе.  
Тревожное небо клубится над нами.  
Подходит война к твоему изголовью.  
И больше нам взносы платить не рублями,  
а может быть, собственной жизнью и кровью.

Притоптанным житом, листвою опалой,  
сожженная солнцем, от пыли седая,  
советская армия,

ты отступала,

на ноги истертые припадая.  
Искрились волокна сухой паутины,  
летели на юг неизменные гуси,

ты шла, покидая поля Украины,  
ты шла, оставляя леса Беларуси.  
А люди?

А дети?

Не буду, не буду.

Ты помнишь сама каждой жизнью своею.  
Но кровь свою ты оставляла повсюду,  
наверно, затем чтоб вернуться за нею.  
О запах шинельного черного пота!  
О шарканье ног по кровавому следу!  
А где-то уже подхихикивал кто-то,  
трусливо и жалко пиная победу.  
Как страшно и горько подумать, что где-то  
уже суетились, шипя и ругая.  
О чем ты?

Не вздрагивай, девочка, это  
не те, за кого ты стоишь, дорогая.

Нет, это не те, чьи любимые люди  
в окопах лежат у переднего края.  
Что в лад громыханью советских орудий  
и дышат и гверят.

Не те, дорогая.

Нет, это не те, что в казенном конверте,  
в бессильных неточных словах извещения,  
услышали тихое сердце бессмертья,  
увидели дальнее зарево мщения.  
Нет, это не те, что вставали за Пресню,  
Владимирским трактом в Сибирь уходили,  
что плакали, слушая русскую песню,  
и пушкинский стих как молитву твердили.

Они — это нелюди,

копоть и плесень,  
мышинные шумы, ухмылки косые.  
И нет у них родины,  
нет у них песен  
и нет у них Пушкина и России.

Но Зоя дрожит и не знает покоя,  
от гнева бледнея,

от силы темнея:

«Мне хочется что-нибудь сделать такое,  
чтоб стала победа слышней и виднее».

Стояло начало учебного года.  
Был утренний воздух прохладен и сладок.  
Кленовая, злая, сухая погода,  
шуршание листьев и шорох тетрадок.  
Но в этом учебном году по-другому.  
Зенитки, взведенные в сквериках рыжих.

В девятом часу ты выходишь из дому,  
совсем налегке,

без тетрадок и книжек.

Мне эта дорога твоя не знакома.  
В другой стороне двести первая школа.  
Осенней Москвой,

по путевке райкома,  
идет комсомолка в МК комсомола.

Осенней Москвою,

октябрьской Москвою.

Мне видится взгляд твой бессонный и жесткий.  
Я только глаза от волненья закрою  
и сразу увижу твои перекрестки.

Душе не забыть тебя,

сердцу не бросить,  
как женщину в горе,

без маски, без позы.

Морщинки у глаз,

промелькнувшая просель,  
на горьких ресницах повисшие слезы.

Все запахи жизни, проведенной вместе,  
опять набежали, опять налетели.

Обрызганной дождиком кровельной жести  
и острой ливны, отмеченной к панелли.

Все двигалось,  
шло,  
продолжалась работа,  
и каждая улица мимо бежала.  
Но тихая, тайная, тонкая нота  
в осенних твоих переулках дрожала.  
Звенели твои подоженные клены,  
но ты утешала их теплой рукою.  
Какой же была ты тогда?

Оскорбленной?  
Страдающей?  
Плачущей?

Нет, не такую.  
Ты за ночь одну на глазах возмужала,  
собралась,  
ремни подтянула потуже.  
Как просто ты лишних людей провозжала  
и между бойцами делила оружие.  
Какою ты сделалась вдруг деловитой.  
Рассчитаны, взвешены жесты и взгляды,  
вколочены рельсы,  
и улицы взрыты,  
и в переулках стоят баррикады.  
Как будто с картины о битвах на Пресне,  
которая стала живой и горячеей.  
И нету похожих стихов или песен.  
Была ты

Москвой, —

и не скажешь иначе.

И те, кто родились на улицах этих,  
кто здесь, на глазах у Москвы, подрастали,  
о ком говорили вчера, как о детях,  
сегодня негаданно взрослыми стали.  
Они не могли допустить, чтоб чужая,  
железная спесь их судьбу загоптала.

А там,  
у Звенигорода,  
у Можая,  
шла грозная битва людей и металла.  
В твоих переулках росли баррикады,  
железом и рвами Москву окружали.  
В МК  
отбирали людей в отряды.  
В больших коридорах  
толпились,  
жужжали  
вчерашние мальчики,  
девочки,  
дети,  
встревоженный рой золотого народа.  
Сидел молодой человек в кабинете,  
москвич октября сорок первого года.  
Пред ним проходили повадки и лица.  
Должно было стать ему сразу понятно,  
который из них безусловно годится,  
которого надо отправить обратно.  
И каждого он оглядывал сразу,  
едва появлялся тот у порога,  
улавливал еле заметные глазу  
смущенье,  
случайного взгляда тревогу.  
Он с разных сторон их старался увидеть,  
от гнева в глазах до невольной улыбки,  
смутить,  
ободрить,  
никого не обидеть,  
любую ценою не сделать ошибки.  
Сначала встречая, потом провожая,  
иных презирал он,  
гордился другими.



Ты  
не ошибся  
в этом бою,  
секретарь Московского Комитета.

---

Отгорели жаркие леса,  
под дождем погасли листья клена,  
осень поднимает в небеса  
отсыревшие свои знамена.  
Но они и мокрые горят,  
занимаясь с западного края.  
Это полыхает не закат,  
это длится бой, не угасая.

Осень, осень.

Век не позабудь  
тихий запах сырости и тленья,  
выбитый, размытый, ржавый путь,  
мокрые дороги отступленья,  
и любимый город без огня  
и безлюдных улочек морщины...

Ничего, мы дожили до дня  
самой долгожданной годовщины.  
И возник из ветра и дождя  
смутного дымящегося века  
гордый голос нашего вождя,  
утомленный голос человека.  
Длинный фронт — живая полоса  
человечьих судеб и мегалла.  
Сквозь твоих орудий голоса  
слово невредимым пролетало.  
И разноязыкий пестрый тыл.  
Дождь и звезды, солнце и поэмка.  
И повсюду Сталин говорил,  
медленно, устало и негромко.

Как бы мне надежнее сберечь  
сталинскую гордую усталость?  
Как бы мне запомнить эту речь,  
чтоб она в крови моей осталась?  
Я запомню неотступный взгляд  
вставшей в строй московской молодежи  
и мешки нехитрых баррикад, —  
это, в сущности, одно и то же.  
И на фронт идущего бойца,  
ставшего задумчивей и строже,  
и сухой огонь его лица, —  
это, в сущности, одно и то же.  
Он сказал:

«Победа!»

Будет так.  
Я запомню, как мой город ожил,  
сразу став и старше и моложе,  
первый выстрел наших контратак, —  
это, в сущности, одно и то же.  
Это полновесные слова  
невесомым схвачены эфиром.  
Это осажденная Москва  
гордо разговаривает с миром.  
Дети командиров и бойцов,  
бурей разлученные с отцами,  
будто голос собственных отцов  
этот голос слушали сердцами.  
Женщины, отдавшие мужей,  
цепенеющие в ожиданьи,  
в одинокой тишине своей  
слушали его, как обещанье.  
Севастополь.

Трудная пора.  
Артобстрел, недалекий грохот боя,  
длинный гул осеннего приboя.  
Только вдруг взорвались рупора.  
Это Сталин говорит с тобою.

Ленинград,

безлюдный и седой.

Не ищи слезы в бессонном взгляде.

Встретившись лицом к лицу с бедой,

Ленинград не молит о пощаде.

Доживешь?

Дотерпишь?

Достоиншь?

Достою, не сдамся.

Расколослась

чистая, отчетливая тишь,

и в нее ворвался тот же голос.

Между ленинградскими домами

о фанеру, мрамор и гранит

бился голос сильными крылами, —

это Сталин с ними говорит.

«Предстоит еще страданий много,

но твоя отчизна победит».

Кто сказал:

«Воздушная тревога!»

Мы спокойны, — Сталин говорит.

Что такое радиоволна?

Это колебания эфира.

Это значит — речь его слышна

в самых разных уголочках мира.

Прижимают к уху эбонит

коммунисты в харьковском подпольи,

клонится березка в чистом поле, —

это Сталин с нами говорит.

Что такое радиоволна?

Я не очень это понимаю.

Прячется за облако луна.

Ты бежишь, кустарники ломая.

Все свершилось.

Все совсем всерьез.

Ты волочишь хвороста вязанку.  
Между расступившихся берез  
ветер настигает партизанку.  
И она, вступая в лунный круг,  
ветром захлебнется на минуту.  
«Что со мною приключилось вдруг?  
Мне легко и славно почему-то».  
Что такое радиоволна?  
Ветер то московский, —

ты и рада.

И, внезапной радостью полна,  
Зоя добежала до отряда,  
«Как у нас в лесу сегодня сыро,  
Хоть умри, а не горит костер».

Ветер пальцы тонкие простер.  
Может быть, в нем та же дрожь эфира?

Только вдруг как вспыхнула береста!  
Это кто сказал, что не разжечь?  
Вот мы и согрелись!

Это просто  
к вам домчалась сталинская речь.  
«Будет день большого торжества.  
Как тебе ни туго — верь в победу!»

И летит осенняя листва  
по ее невидимому следу.

---

За остановившейся рекою  
партизаны жили на снегу.  
Сами, отрешившись от покоя,  
не дали покоя и врагу.  
Ко всему привыкнешь понемногу.  
Жизнь прекрасна!

Горе не беда!

Аккуратно порпили дорогу,  
резали связные провода.

Начались декабрьские метели,  
дули беспощадные ветра.  
Под открытым небом три недели,  
греясь у недолгого костра,

Спит отряд, и звезды над отрядом.  
Как бы близко пуля ни была,  
если даже смерть почти что рядом,  
люди помнят про свои дела,  
думают о том, что завтра будет,  
что-то собираются решить.  
Это правильно.

На то мы люди.  
Это нас спасает, может быть.

И во мраке полночи вороньей  
Зоя вспоминает в свой черед:  
«Что там в Тимирязевском районе?  
Как там мама без нее живет?  
Хлеб, наверно, ей берет соседка.  
Как у ней с дровами?»

Холода!  
Если дров нехватит, что тогда?»

А на утро донесла разведка,  
что в селе Петрищеве стоят,  
отдыхают вражеские части.  
— Срок нам вышел, можно и назад.  
Можно задержаться... В нашей власти.  
— Три недели мы на холоду.  
Отогреться бы маленько надо.  
Смотрит в землю командир отряда.  
И сказала Зоя:

«Я пойду»

Я еще не очень-то устала.  
Я еще успею отдохнуть».  
Как она нежданно настала,  
жданная минута.

Добрый путь!

Узкая ладошка холодна —  
от мороза или от тревоги?  
И уходит девочка одна  
по своей безжалостной дороге.

---

Тишина, ах, какая стоит тишина.  
Даже шорохи ветра нечасты и глухи.  
Тихо так, будто в мире осталась одна  
эта девочка в ватных штанах и треухе  
«Значит, я ничего не боюсь и смогу  
сделать все, что приказано...»

Завтра не близко.

Догорает костер, разожженный в снегу,  
и последний дымок его стелется низко.  
Погоди еще чуточку, не потухай.  
Мне с тобой веселей. Я согрелась немного.  
Над Петрищевым мечутся три петуха.  
Там, наверное, шум, суета и тревога.  
Это я подождла!

Это я!

Это я!

Все исполню, верна боевому приказу.  
И сильнее противника воля моя.  
и сама я невидима вражьему глазу.  
Засмеяться?

Запеть?

Погоди, погоди...

Вот, когда я с ребятами встречусь,

когда я...

Сердце весело прыгает в жаркой груди,  
и счастливей колотится кровь молодая.

Ах, какая большая стоит тишина!  
Приглушенные елочки к шороху чутки.

Как досадно, что я еще крыл лишена.  
Я бы к маме слетала, хоть на две минутки.

Мама, мама,

какой я была до сих пор?

Может быть, недостаточно мягкой и нежной?  
Я другую вернусь.

Догорает костер.

Я одна остаюсь в этой полночи снежной.

Я вернусь,

я найду себе верных подруг,

Стану сразу доверчивей и откровенней...

Тишина, тишина нарастает вокруг.

Ты сидишь, обхвативши руками колени.

Ты одна.

Ах, какая стоит тишина!

Но не верь ей, прислушайся к ней, дорогая.

Тихо так, что отчетливо станет слышна

вся страна,

вся война,

до переднего края.

Ты услышишь все то, что не слышно врагу.

Под защитным крылом этой ночи вороньей

заскрипели полозья на крепком снегу,

тащат трудную ношу разумные кони.

Мимо сосенок четких и лунных берез,

через линию фронта, огонь и блокаду,

нагруженный продуктами красный обоз

осторожно и верно ползет к Ленинграду.

Люди, может быть, месяц в пути, и назад

не вернет их ни страх, ни железная сила.

Это наша тоска по тебе, Ленинград,

наша русская боль из немецкого тыла.

Чем мы можем тебе хоть немного помочь?

Мы пошлем тебе хлеба, и мяса, и сала.

Он стоит,  
погруженный в обадную ночь,  
этот город,  
которого ты не видала.

Он стоит под обстрелом чужих батарей.  
Рассказать тебе, как он на холоде дышит?  
Про его матерей,  
потерявших детей  
и тащивших к спасенью чужих ребятишек?  
Люди поняли цену того, что зовут  
немудреным таинственным именем жизни,  
и они исступленно ее берегут,  
потому что — а вдруг? — пригодится отчизне.  
Это проще — усталое тело сложить,  
так-таки и не выйдя к переднему краю.  
Слава тем, кто решил до победы дожить.  
Понимаешь ли, Зоя?

«Я все понимаю.

Понимаю.

Я завтра проникну к врагу,  
и меня не заметят,  
не схватят,  
не свяжут.

Ленинград, Ленинград!

Я тебе помогу!

Прикажи мне!

Я сделаю все, что прикажут».   
И как будто в ответ тебе,  
будто бы в лад  
застучавшему сердцу,

услышь канонаду.  
На высоких басах начинает Кронштадт,  
и Малахов курган отвечает Кронштадту.  
Проплывают больших облаков наурса  
через тысячи верст человеческого горя.

Артиллерии русской гремят голоса  
от Балтийского моря до Черного моря.  
Севастополь.

Но как рассказать мне о нем?  
На светящемся гребне девятого вала  
он причалил к земле боевым кораблем,  
этот город,  
которого ты не видала.

Сходят на берег люди.  
Вздыхает вода.

Что такое геройство?  
Я так и не знаю

Севастополь...

Давай помолчим.  
Но тогда,  
понимаешь, он был еще жив.  
«Понимаю.

Понимаю.

Я завтра пойду и зажгу  
и конюшни, и склады, согласно приказу.  
Севастополь, я завтра тебе помогу!  
Я ловка и невидима вражьему глазу!»

Ты невидима вражьему глазу?  
А вдруг?

Как тогда?

Что тогда?  
Ты готова на это?  
Тишина, тишина нарастает вокруг.  
Подымается девочка вместо ответа.

Далеко-далеко умирает боец...  
Задыхается мать, иступленно рыдая.  
Страшной глыбой заваленный стонет отец,  
и сирот обнимает вдова молодая.  
Тихо так, что ты все еще слышишь в ту ночь,

потрясенной планеты взволнованный житель:  
«Дорогие мои, я хочу вам помочь!  
Я готова.

Я выдержу все.

Прикажете».

А кругом тишина, тишина, тишина,  
и мороз

не дрожит,

не слабеет,

не тает...

И судьба твоя завтрашним днем решена,  
и дыханья

и голоса

мне нехватает.

### *3-я глава*

Вечер освещен сиянием снега.  
Тропки завалило, занесло.  
Запахами теплого ночлега  
густо дышит русское село.

Путник, путник, поверни на запах,  
в сказочном лесу не заблудись.  
На таинственных еловых лапах  
лунной бахромою снег повис.

Мы тебя, как гостя, повстречаем.  
Место гостю красное дадим.  
Мы тебя согреем крепким чаем,  
молоком душистым напоим.

Посиди, подсолнушки полузгай.  
Хорошо в избе в вечерний час.  
Сердцу хорошо от ласки русской,  
Что же ты сторонисься от нас?



Всю, как есть,  
от головы до ног,  
всю обшарили и обыскали.  
Малые ребята на печи.  
Пригнались.

Смотрят и не дышат.  
Тише, тише, сердце, не стучи.  
Пусть враги тревоги не услышат.  
Каменная оторопь, не страх.  
Плечики остры, и руки тонки.  
Ты осталась в стеганых штанах  
и в домашней старенькой кофтенке.  
И на ней мелькают там и тут  
мамины заштопки и заплатки,  
и родные запахи живут  
в каждой сборочке и в каждой складке.  
Все, чем ты дышала и росла,  
вплоть до этой кофточки измятой,  
ты с собою вместе принесла, —  
пусть глядят немецкие солдаты.  
Постарался поудобней сесть  
офицер,

бумаги вынимая.  
Ты стоишь пред ним, какая есть —  
тоненькая,  
русская,  
прямая.

Это все не снится, все всерьез.  
Вот оно надвинулось, родная.  
Глухо начинается допрос.  
— Отвечай!

— Я ничего не знаю.  
Вот и все.

Вот это мой конец.  
Не конец. Еще придется круто.  
Это все враги,  
а я — боец.

Вот и наступила та минута.  
— Отвечай, не то тебе капут!  
Он подходит к ней развалкой пьяной.  
— Кто ты есть и как тебя зовут?  
Отвечай!

— Меня зовут Татьяной.

(Можно мне признаться?)

Почему-то  
ты еще родней мне оттого,  
что назвалась в страшную минуту  
именем ребенка моего.  
Тоненькая смуглая травинка,  
нас с тобой разбило, разнесло.  
Унесло тебя, моя кровинка,  
в пыльное татарское село.  
Как мне страшно!

Только бы не хуже.  
Как ты там, подруженька, живешь?  
Мучаешь кота,  
купаешь куклу в луже,  
прыгаешь и песенки поешь.  
Дождь шумит над вашими полями,  
облака проходят над Москвой,  
и гудит пространство между нами  
всей моей беспомощной тоской.

Как же вышло так, что мы не вместе?  
Длинным фронтом вытянулся бой.  
Твой отец погиб на поле чести.  
Мы одни на свете,

я — с тобой.  
Почему же мы с тобою разны?  
Чем же наша участь решена?  
Дымен ветер,

небо дышит грозно,  
требует к ответу тишина.

Начинают дальние зенитки,  
и перед мучителем своим  
девочка молчит под страхом пытки,  
называясь именем твоим.

Родина,

мне нет другой дороги.

Пусть пройдут, как пули, сквозь меня  
все твои раненья и тревоги,  
все порывы твоего огня!

Пусть во мне страданьем отзовется  
каждая печаль твоя и боль.

Кровь моя твоим порывом бьется.

Дочка,

отпусти меня,

позволь.

Все, как есть, прости мне, дорогая.

Вырастешь, тогда поговорим.

Мне пора.

Горя и не сгорая,  
терпит пытку девочка другая,  
называясь именем твоим.)

---

Хозяйка детей увела в закут.

Пахнет капустой, скребутся мыши.

— Мама, за что они ее бьют?

— За правду, доченька. Тише, тише...

— Мама, глянь-ка в щелочку, глянь.

У нее сорочка в крови.

Мне страшно, мама, мне больно.

— Тише, доченька, тише, тише...

— Мама, зачем она не кричит?

Она, небось, железная?

Живая бы давно закричала.

— Тише, доченька, тише, тише.

— Мама, а если ее убьют,  
стало быть, правду убили тоже?

— Тише, доченька, тише...

Нет!

Девочка, слушай меня без дрожи.  
Слушай,

тебе одиннадцать лет.

Если ни разу она не заплачет,  
что бы ни делали изверги с ней,  
если умрет,  
но не сдастся,

значит,

правда ее даже смерти сильней.

Лучшими силами в человеке

я бы хотела тебе помочь,

чтобы запомнила ты навеки

эту кровавую страшную ночь.

Чтобы чудесная Зоина сила,

как вдохновенье тебя носила,

стала бы примесью крови твоей.

Чтобы, когда ты станешь большою,

сердцем горячим,

верной душою

ты показала, что помнишь о ней.

---

Неужели на свете бывает вода?

Может быть, ты ее не пила никогда

голубыми,

большими, как небо,

глотками?

Помнишь, как она сладко врывается в рот?

Ты толкаешь ее языком и губами,

и она тебе в самое сердце течет.

Воду пить.

Вспомни, как это было.

Постой!

Можно пить из стакана —

и вот он пустой.

Можно черпать ее загорелой рукою.  
Можно к речке сбегать,  
можно к луже припасть,  
и глотать ее,  
пить ее,  
пить ее всласть.

Это сон,  
это бред,  
это счастье такое!

Воду пьешь, словно русскую песню поешь,  
словно ветер глотаешь над лунной рекою.  
Как бы славно, прохладно она потекла!  
«Дайте пить...» —

истомленная девушка просит.  
Но горящую лампочку, без стекла,  
к опаленным губам ее немец подносит.  
Это детские губы,

сухие огни,  
почерневшие, стиснутые упрямо.  
Как недавно с усилием лепили они  
очень трудное,  
самое главное —

«мама».

Пели песенку,  
чуть шевелились во сне,  
раскрывались, взволнованы страшною сказкой,  
перепачканы ягодами по весне,  
выручали подругу удачною подсказкой.  
Эти детские губы,

сухие огни,  
своевольно очерчены женскою силой.  
Не успели к другим прикоснуться они,  
никому не сказали:

«люблю»

или

«милый».

Кровяная запекшаяся печать.

Как они овладели святою наукой  
не дрожать,  
ненавидеть,  
и грозно молчать,  
и надменной сжиматься под смертною мукой.

Эти детские губы,  
сухие огни,  
воспаленно тоскующие по влаге.  
Без движенья,  
без шороха  
шепчут они,  
как признание,  
слово бойцовой присяги.

---

Стала ты под пыткой Татьяной,  
онемела, замерла без слез.  
Босиком,  
в одной рубашке рваной,  
Зою выгоняли на мороз.  
И своей летающей походкой  
шла она под окриком врага.  
Тень ее, очерченная четко,  
падала на лунные снега.  
Это было все на самом деле,  
и она была одна, без нас.  
Где мы были?  
В комнате сидели?  
Как могли дышать мы в этот час?  
На одной земле,  
под тем же светом,  
по другую сторону черты.  
Что-то есть чудовищное в этом.  
— Зоя, это ты или не ты?  
Снегом запорошенные прядки  
коротко остриженных волос.

— Это я,  
не бойтесь,  
все в порядке.

Я молчала.  
Кончился допрос.  
Только б не упасть, ценой любою...

Окрик:  
«Рус!»,  
и ты идешь назад.  
И опять глумится над тобою  
гитлеровской армии солдат.

Русский воин  
юноша, одетый  
в справедливую шинель бойца.  
Ты обязан помнить все приметы  
этого звериного лица.  
Ты его преследовать обязан,  
как бы он ни отступал назад,  
чтоб твоей рукою был наказан  
гитлеровской армии солдат.  
Чтобы он припомнил, умирая,  
на снегу кровавый Зоин след.

Но постой, постой, ведь я не знаю  
всех его отличий и примет.  
Малого, большого ль был он роста?  
Черномазый,  
рыжий ли?  
Бог весть.

Я не знаю.  
Как же быть?  
А просто.

Бей любого!  
Это он и есть.  
Встань над ним карающей грозой.



Зеленая речка твоя загорелась,  
и все загорелось кругом.

Идите, скорее, ко мне на подмогу.  
Они поджигают меня.  
Трубите тревогу, трубите тревогу!  
Спасите меня от огня.

Допрос ли проходит?

Собаки ли лают?

Все сбилось и спуталось вдруг.  
И кажется ей,

будто села пылают,  
деревни пылают вокруг.  
Но в пламени этом шаги раздаются.  
Гремят над землею шаги.  
И падают наземь,

и в страхе сдаются,  
и гибнут на месте враги.

Гремят барабаны, гремят барабаны,  
труба о победе поет.

Идут партизаны, идут партизаны.

Железное войско идет.

Сейчас это кончится.

Боль прекратится.

Недолго осталось терпеть.

Ты скоро увидишь любимые лица,  
тебе не позволят сгореть.

И вся твоя улица,

вся твоя школа  
к тебе на подмогу спешит...

Но это горят не окрестные села.

избитое тело горит.

Но то не шаги, не шаги раздаются,  
стучат топоры у ворот.

Сосновые бревна стоят и не гнутся.  
И вот он готов, эшафот.

---

Лица неспавшиеся хмуры,  
будто бы в золе или в пыли.  
На рассвете из комендатуры  
Зоину одежду принесли.  
И старуха, ежась от тревоги,  
кое-как скрывая дрожь руки,  
на твои пылающие ноги  
натянула старые чулки.  
Светлым ветром память пробегала  
по ее неяркому лицу:  
как-то дочек замуж отдавала,  
одевала бережно к венцу.  
Жмурились от счастья и от страха,  
прижимались к высохшей груди...  
Свадебным чертогом встала плаха;  
голубица белая, гряди.

Нежили,

голубили,

растили,

а чужие провожают в путь.

«Как тебя родные окрестили?»

«Как тебя пред богом поминуть?»

Девушка взглянула краем глаза,  
повела ресницами верней.  
Хриплый лай немецкого приказа,  
офицер выходит из дверей.  
Два солдата со скамьи привстали,  
и, присев на хромоногий стул,  
он спросил угрюмо:

«Где ваш Сталин?»

Ты сказала:

«Сталин на посту».

Сталин на работе.

Это значит:  
над землей рассвет еще плывет.  
Дымы розовеют.

Это начат  
новый день сражений и работ.  
Управляясь с хитрыми станками,  
в складке губ достойно скрыв печаль,  
женщина

домашними руками  
вынимает новую деталь.

Семафоры,

рельсы,

полустанки,

скрип колес по мерзлomu песку.  
Бережно закутанные танки  
едут на работу под Москву,  
Просыпаются в далеком доме  
дети, потерявшие родных.  
Никого у них на свете, кроме  
родины.

Она согреет их.

Вымоет, по голове погладит,  
валенки натянет, —

пусть растут!

Молока нальет,

за стол посадит.

Это значит — Сталин на посту.

Это значит:

вдоль по горизонту,  
где садится солнце в облака,  
по всему немыслимому фронту  
бси ведут советские войска.

Это значит:

до сердцебиенья,  
до сухого жжения в груди,

в черные недели отступленья  
верить, что победа впереди.  
Это значит:

наши самолеты  
плавно набирают высоту.  
Дымен ветер боя и работы.  
Это значит — Сталин на посту.  
Это значит:

вставши по приказу,  
только бы не вскрикнуть при врагах —  
ты идешь,

не оступясь ни разу,  
на почти обугленных ногах.

Как морозно.

Как светла дорога.  
Утренняя, как твоя судьба.  
Поскорей бы!

Нет, еще немного!  
Нет, еще не скоро...

От порога...  
по тропинке...

до того столба...  
Надо ведь еще дойти дотуда,  
этот длинный путь еще прожить.  
Может ведь еще случиться чудо.  
Где-то я читаю...

Может быть...  
Жить...

Потом не жить.  
Что это значит?

Видеть день.  
Потом не видеть дня.

Это как?  
Зачем старуха плачет?

Кто ее обидел?  
Жаль меня!

Почему ей жаль меня?

Не будет

ни земли,

ни боли...

Слово «жить»...

Будет свет,

и снег,

и эти люди.

Будет все, как есть.

Не может быть!

Если мимо виселицы прямо  
все идти к востоку — там Москва.

Если очень громко крикнуть: «Мама!»  
Люди смотрят.

Есть еще слова...

«Граждане,

не стойте,

не смотрите!

(Я живая — голос мой звучит.)

Убивайте их, травите, жгите...

Я умру, но правда победит!

Родина!»

Слова звучат, как будто  
это вовсе не в последний раз.

«Всех не перевешать,

много нас!

Миллионы нас...»

Еще минута,

и удар наотмашь между глаз.

Лучше бы скорей,

пускай уж сразу,

чтобы больше не коснулся враг.

И уже без всякого приказа

делает она последний шаг.

Смело поднимаешься сама ты.

Шаг  
на ящик,  
к смерти  
и вперед:  
Вкруг тебя немецкие солдаты,  
русская деревня,  
твой народ.

Вст оно!  
Морозно, снежно, мглисто...  
Розовые дымы... Блеск дорог...  
Родина!  
Тупой сапог фашиста  
выбивает ящик из-под ног.

---

(Жги меня, страдание чужое,  
стань родною мукою моей.  
Мне хотелось написать о Зое  
так, чтоб задохнуться вместе с пей.  
Мне хотелось написать про Зою,  
чтобы Зоя начала дышать,  
чтобы стала каменной и злою  
русская прославленная мать.  
Чтоб она не просто погрустила,  
уронив слезинку на ладонь.  
Ненависть — не слово,  
это — сила,  
бьющий безошибочно огонь.  
Чтобы эта девочка чужая  
стала дочкой тысяч матерей.  
Помните о Зое, провожая  
в путь к победе собственных детей.  
Мне хотелось написать про Зою,  
чтобы той, которая прочтет,  
показалось:  
тропкой снеговую  
в тыл врага сама она идет.  
Под шинелью спрятаны гранаты.

Ей дано задание.

Все всерьез.

Может быть, немецкие солдаты  
ей готовят пытку и допрос?  
Чтоб она у совести спросила,  
сможет ли,

и поняла:

Смогу.

Зоя о пощаде не просила.

Ненависть — не слово,  
это — сила,

гордость и презрение к врагу.  
Ты, который встал на поле чести,  
русский воин,

где б ты ни был,  
пожалей о ней, как о невесте,  
как о той, которую любил.  
Но не только смутною слезою  
пусть затмится твой солдатский взгляд.  
Мне хотелось написать про Зою  
так, чтоб ты не знал пути назад.  
Потому что вся ее отвага,  
устремленный в будущее взгляд,  
шаг к победе,

может быть, полшага,  
но вперед,

вперед, а не назад.  
Шаг к победе,

— это очень много.  
Оглянись, подумай в свой черед  
и ответь обдуманно и строго,  
сделал ли ты этот шаг вперед?  
Близкие,

товарищи,  
соседи,  
все, кого проверила война,

если б каждый сделал шаг к победе,  
как бы к нам приблизилась она.  
Нет пути назад!

Вставай грозою.  
Что бы ты ни делал, ты — в бою.  
Мне хотелось написать про Зою,  
будто бы про родину свою.  
Чтобы фронтвою полосой  
ты прошла походкою своей.  
Мне хотелось написать про Зою  
так, чтоб задохнуться вместе с ней  
Но, когда в петле ты задыхалась,  
я веревку с горла сорвала.  
Может, я затем жива осталась,  
чтобы ты в стихах не умерла.)

Навсегда сохрани фотографию Зои.  
Я, наверно, вовеки ее позабыть не смогу.  
Это девичье тело,  
не мертвое  
и не живое.

Это Зоя из мрамора  
тихо лежит на снегу.  
Беспощадной петлей перерезана тонкая шея.  
Незнакомая власть в запрокинутом лице твоём.  
Так любимого ждут,  
сокровенной красой хорошея,  
изнутри озаряясь таинственным женским огнем.  
Только ты не дождалась его, снеговая невеста.  
Он — в бойцовой шинели,  
на запад лежит его путь.  
Может быть, недалеко от этого страшного места,  
где ложились снежинки на строгую девичью грудь.  
Вечной силы и слабости неповторимо единство.  
Ты совсем холодна, а меня прожигает тоска.  
Не ворвалось в тебя, не вскипело в тебе материнство,  
теплый ротик ребенка не тронул сухого соска.

Ты лежишь на снегу.

О, как много за нас отдала ты,  
чтобы гордо откинуться чистым прекрасным лицом,  
в доспехи героя,

за тяжелые ржавые латы,  
за святое блаженство быть храбрым бойцом.  
Стань же нашей любимицей, символом правды и силы,  
чтоб была наша верность, как гибель твоя, высока.  
Мимо твоей занесенной снегами могилы,  
на запад, на запад! —

идут,  
присягая,  
войска.

### Эпилог

Когда страна узнала о войне,  
в тот первый день,  
в сумятице и бреду,  
я помню, я подумала о дне,  
когда страна узнает о победе.  
Каким он будет, день великий тот?  
Конечно, солнце!

Неприменно лето!  
И наш любимый город зацветет  
цветами электрического света.  
И столько самолетов над Москвой,  
и город так волнующе чудесен,  
и мы пойдем раздвинутой Тверской,  
среди цветов, и музыки, и песен.  
Смеемся и торжествуя, мы пойдем,  
сплетая руки в тесные объятия.  
Все вместе мы!

Вернулись в каждый дом  
мужья и сыновья, отцы и братья.  
Война окончена!

Фашизма в мире нет!

Давайте петь и ликовать, как дети.

И год прошел,

как день,

как десять лет,

как несколько мгновений,

как столетье.

Год отступлений, крови и утрат.

Потерь не счесть,

страданий не измерить.

Припомни все и оглянись назад,

и разум твой откажется поверить.

Как многих нет

и не сысзять могил,

и памятников славы не поставить.

Но мы живем, и нам хватило сил.

Всех сил своих мы не смогли представить.

Выходит, мы сильнее самих себя.

Мы — сталинской традиции и стали.

Всей кровью ненавдя и любя,

мы вынесли,

дожили,

достояли.

Мы стоим!

Он прожит, этот год.

Мы выросли, из нас иные седы.

Но это все пустое!

Он придет,

он будет,

он наступит,

день победы.

Пока мы можем мыслить, говорить  
и подыматься по команде: «К бою!»

Пока мы дышим и желаем жить,  
мы видим этот день перед собою.

Она взойдет, усталая заря,  
согретая дыханием горячим,

живую кровью над землей горя  
всех тех, о ком мы помним и не плачем.  
Не можем плакать.

Слишком едок дым,  
и солнце светит слишком редким светом...  
Он будет, этот день,

но не таким,  
каким он представлялся прошлым летом.  
Лускай наступит в мире тишина.  
Без пышных фраз,

без грома,  
без парада,  
судьба земли сегодня решена.  
Не надо песен.

Ничего не надо.  
Снять сапоги и ноги отогреть,  
поесть, умыться и поспать по чести...  
Но мы не сможем дома усидеть,  
и все-таки мы соберемся вместе.  
И все-таки, конечно, мы споем  
ту тихую,

ту русскую,  
ту нашу.  
И встанем и в молчаньи разопьем  
во славу павших дружескую чашу.  
За этот день отдали жизнь они.  
И мы срываем затемнение с окон.  
Пусть загорятся чистые огни  
во славу павших в воздухе высоком.  
Смеясь и плача, мы пойдем гулять,  
не выбирая улиц,

как попало,  
и незнакомых будем обнимать  
затем, что мы знакомых встретим мало.  
Мой милый друг,  
мой сверстник,  
мой сосед!

Нам этот день за многое награда.  
Война окончена. Фашизма в мире нет.  
Во славу павших радоваться надо.  
Пусть будет солнце,

        пусть цветет сирень,  
пусть полночь затянутся беседы...

Но вот настанет следующий день,  
тот первый будний день за праздником  
        победы.

Стук молотов, моторов и сердец...  
И к творчеству вернувшийся художник  
вдохнет глубоко и возьмет резец.  
Резец не дрогнет в пальцах осторожных.  
Он убивал врагов,

        он был бойцом,  
держал винтовку сильными руками.  
Что хочет он сказать своим резцом?  
Зачем он выбрал самый трудный камень?  
Он бросил дом, работу и покой,  
он бился вместе с тысячами тысяч,  
затем, чтоб возмужавшею рукой  
лицо победы из гранита высечь.  
В какие дали заглядишься ты,  
еще неведомый,

        уже великий.  
Но мы узнаем Зоины черты  
в откинutom,  
        чудесном,  
        вечном лике.

*Москва, июль — сентябрь 1942*

## СОДЕРЖАНИЕ

### Перед боем

Год рождения . . . . .	5	Ирпень . . . . .	38
Гроза . . . . .	13	Ночной разговор . . . . .	39
Осень в Болдине . . . . .	18	Человску в пути . . . . .	40
Уже сентябрь за окном . . . . .	21	Камни . . . . .	44
22 сентября . . . . .	23	Заря . . . . .	46
Счастье . . . . .	25	Хотта — танец басков . . . . .	48
Песок . . . . .	27	Гендриков перевалок . . . . .	51
Старик (П о в е с т ь) . . . . .	32	Зима этого года (П о в е с т ь) . . . . .	56

### Победители

Русская песня . . . . .	89	Весна в Ленинграде . . . . .	108
Бойцу . . . . .	91	Россия . . . . .	113
Кровь . . . . .	93	Хозяйка . . . . .	115
Летчики . . . . .	95	Ясный денек . . . . .	117
Из Казанской тетради . . . . .	96	Наступление . . . . .	119
Калуга . . . . .	101	Освобождение . . . . .	120
Чужое горе . . . . .	103	Победитель . . . . .	121
Музыка . . . . .	105	Зоя (П о э м а) . . . . .	123

Редактор *В. Казин*

Подписано к печати 15/III 1944 г. А2716

Тираж 25 000. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, печ. л. 7,54 уч.-авт. л.

Лект. 246. Цена 5 р.

Отпечатано с матриц 1-й Образц. типогр.

в 3-й тип «Красный пролетарий» треста

«Полиграфиздат» ОГИЗа при СНК РСФСР.

Москва: Краснопролетарская, 16.

5 р.



23

ОГИЗ  
ГОСЛИТИЗДАТ  
1944